



ПОРТ-АРТУР.

★
ЛЕЙТЕНАНТ

ЛЕВИАФАН КЕЙН

†

Левиафан Кейн

Порт-Артур. Лейтенант

<https://litres.ru/74047843>

SelfPub; 2026

Аннотация

Капитан второго ранга запаса Андрей Маринин засыпает в 2025 году — и просыпается в ноябре 1903-го, в теле своего тёзки-лейтенанта на эскадренном броненосце «Полтава». До первых выстрелов русско-японской войны два с половиной месяца, и он один на всём Порт-Артуре знает, что будет дальше: ночь внезапной атаки, гибель «Стерегущего», минную банку, на которой взлетит на воздух флагман с адмиралом Макаровым.

Знать — не значит мочь. У лейтенанта нет ни власти, ни связей, ни права голоса — только холодный расчёт да память о том, чем всё кончилось «в тот раз». И каждый раз, когда он меняет историю, его знание дешевеет, а в штабе заместника всё пристальнее присматриваются к офицеру, который угадывает слишком точно. Главный его враг воюет не пушкой, а бумагой. А за каждую отведённую беду кто-то рядом платит настоящую цену.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	21
Глава 3	36
Глава 4	51
Глава 5	66
Глава 6	81
Глава 7	107
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Левиафан Кейн

Порт-Артур. Лейтенант

Глава 1

Проснулся я от холода в затылок.

Подушка за ночь сбилась куда-то вбок, и затылком я лежал на чём-то твёрдом и студёном, гладком, как печная за-слонка зимой. Рука сама пошла за голову и нашарила там крашеное железо с круглой шляпкой заклёпки посередине — заклёпка была холодная, мокрая от выпота и сидела в металле так, как сидят вещи, поставленные на полвека.

В моей спальне не было ни железа, ни заклёпок, и я это знал даже сквозь сон.

Я лежал тихо, не открывая глаз, и слушал, потому что слух просыпается раньше соображения и врёт реже. Где-то наверху, через палубу, мерно стучали шаги — четыре в одну сторону, разворот с пристуком, четыре обратно: часовой, и часовой вышколенный. Ниже и глубже, в самой толще железа, жил ровный слабый гул — не машина, машина звучит иначе, — скорее котёл на малом огне, дежурный, который держат для динамо и отопления. Пахло угольной гарью, мокрым сукном, ламповым маслом и ещё чем-то казённым и въевшимся — суриком, наверное, и старой медью. Так пахнут ко-

рабли, которым больше пяти лет. Так пахнут и музеи старых кораблей, только в музеях этот запах мёртвый, выветренный до намёка, а здесь он был живой, плотный и шёл отовсюду сразу.

Я сел и открыл глаза. Койка подо мной качнулась и спружинила — не от волны, вода за бортом стояла мёртво, — просто сетка под тощим матрасом отозвалась на движение. Каюта была узкая, на одного: шкаф с зеркальной дверцей, умывальник с медным тазом и кувшином, конторка под иллюминатором, на конторке лампа под зелёным абажуром, чернильный прибор и стопка бумаг, прижатая сверху линейкой. Всё стояло на своих местах с той основательностью, с какой вещи стоят у человека, живущего в шести квадратных метрах не первый год.

Что-то в этом роде мне снилось и раньше. Лет двадцать снилось, с разными подробностями — то мостик, то низкие тучи над серой водой, — и каждый раз я просыпался у себя дома, и подробности расползались за минуту.

Я спустил ноги на холодный линолеум, встал и подошёл к иллюминатору. Ноги несли легко, незнакомо легко, без утренней свинцовой тяжести в коленях. Тело было сухое, молодое, чужое, и вот это оказалось первым по-настоящему страшным. Сны не выдают нового тела. Сны дают картинку, а картинка не умеет нести тебя через каюту на пружинистых чужих ногах.

За стеклом лежала гавань. Серая вода в мелкой ряби, се-

рое низкое небо, у дальней стенки — тёмные оливковые корпуса в ряд, мачты с реями, краны, дымок над одной из труб. Правее всех горбилась лобастая гора с насечкой батарей по гребню, и эту гору я знал. Я стоял на ней живьём, в две тысячи восемнадцатом, с экскурсией: крошащийся бетон, ржавые казематы, китайский гид с жёлтым флажком на палочке. Золотая гора. Только бетон на ней был сейчас свежий, нестарившийся, а на гафеле под горой шёл вверх по фалу флаг, и флаг был андреевский.

Порт-Артур.

Я постоял, держась за латунную раму иллюминатора. Сердце стучало размеренно, и это спокойствие мне самому не понравилось: по-хорошему, по-человечески, полагалось бы сейчас сползти по переборке и сидеть, открывая и закрывая рот. Вместо этого голова, не спросив хозяина, уже делала привычное — считала и опознавала. Корпуса у стенки — низкие, двухтрубные, с башнями на носу и корме, в тёмной боевой окраске. Тип «Полтава», и все три здесь, значит. Дальше — высокобортный, трёхтрубный, с длинным полубаком: «Пересвет» либо «Победа», отсюда не разобрать. Серый свет, голые сопки, изморозь на стекле. Поздняя осень. Ноябрь.

Который ноябрь — вот что решало всё.

На конторке лежала газета, сложенная вчетверо, углом к лампе. «Новый край». Я развернул её на весу. Бумага была рыхлая, дешёвая, типографская краска пачкала пальцы,

шрифт с ятями расплывался в полутьме, но шапку я прочёл с одного взгляда и дату прочёл с одного взгляда тоже. Ноябрь одна тысяча девятьсот третьего года.

Я сложил газету по старым сгибам и положил ровно, как лежала. Руки не дрожали. Я отметил это про себя так же сухо, как отмечал когда-то на учениях в журнале посредника: личный состав панике не поддался, продолжает выполнять задачу. Потом поднял глаза и увидел зеркало над умывальником.

Из зеркала смотрел худой парень лет под тридцать, тёмно-русый, со светлыми серыми глазами и усами по уставу. Лицо было чужое примерно наполовину. Вторая половина была моя — лоб мой, взгляд мой. Так бывает на старых фотографиях деда: вроде не ты, а присмотришься — ты.

Я налил из кувшина в таз и умылся ледяной водой. Вода пошла через край — рука дала лишку, и пришлось вытирать лужу полотенцем. Руки, выходит, знали про сегодняшнее утро больше, чем я им позволял знать.

На спинке стула висел китель. Я взял его и повернул к свету. Два просвета, три звёздочки... нет. Погоны морские: на золотом поле один просвет, три звёздочки. Лейтенант. На внутреннем кармане метка портного, химическим карандашом, полустёртая: «Лейт. Марининь».

Маринин. Моя фамилия. С твёрдым знаком.

Я сел на койку, потому что ноги всё-таки попросили сесть, и какое-то время сидел, держа китель на коленях. В дверь

поскреблись.

— Ваше благородие. — Голос молодой, простуженный. — Андрей Николаич. Без четверти семь. Вы вахту с восьми стоите.

Андрей Николаевич. И имя моё. Кто-то там, наверху, составлял это всё с канцелярской аккуратностью.

— Слышу, — сказал я. Голос вышел чужой, ниже моего, с хрипотцой со сна. — Чаю давай.

— Несу-с.

Шаги ушли. Я остался сидеть с кителем на коленях.

Вот теперь полагалось решить. Не потом, не когда осмотрюсь, — сейчас, потому что через час с четвертью мне принимать вахту на эскадренном броненосце, а вахта не спрашивает, готов ты или нет.

Что я имел в активе. Тело — лейтенанта флота, здоровое, послушное, со своей мышечной памятью. Голову — свою, сорокалетнего капитана второго ранга запаса: двадцать лет службы и тридцать лет книг про эту самую войну, от зачитанного в детстве Степанова до японских официальных томов. Дату — пятнадцатое ноября девятьсот третьего года, если верить газете и отрывному календарю на переборке. До ночи на двадцать седьмое января оставалось два месяца и одиннадцать дней. Я знал, что будет в ту ночь, по часам и по фамилиям — кто, откуда, каким курсом и в кого попадёт. Я по этой ночи когда-то семинар вёл для лейтенантов, которые ещё не родились. Которые теперь уже никогда — или ещё

очень нескоро — не родятся.

Что я имел в пассиве. Всё остальное. Чин штабс-капитана по-сухопутному, десять ступеней субординации до людей, принимающих решения, репутацию заурядного офицера, которую успел нажать прежний хозяин тела, и два месяца времени.

Можно было сойти с ума, и никто бы меня не осудил. Можно было искать дорогу назад. Только дороги назад не просматривалось ни в какой бинокль, а просматривался серый рейд за иллюминатором и эскадра в резерве. А можно было работать с тем, что есть, от той точки, где стоишь. Из трёх занятий я сколько-нибудь прилично умел только третье.

— Ну что, Андрей Николаевич, — сказал я зеркалу. — Принимайте дела.

Парень в зеркале усмехнулся краем рта. Усмешка была моя.

* * *

Чай вестовой принёс крепкий, почти чёрный, в стакане с тяжёлым подстаканником. Сам вестовой оказался худым большеухим матросом второй статьи, лет двадцати, с цыпками на руках. Звали его, судя по его же бормотанию, Михеев, и он был отчаянно рад, что барин нынче смиренный: похоже, вчера лейтенант Маринин вернулся из собрания не в духе и Михееву перепало.

Брился я опасной бритвой. Этому фокусу меня учить было не надо — дед научил ещё в той жизни, — но рука тела помнила сама и вела ровнее моего. К без четверти восемь я стоял на шканцах, выбритый, затянутый, в шинели, и принимал вахту у мичмана с заспанным детским лицом.

Мичман сдавал скороговоркой: на бочке номер такая-то, осадка носом-кормой, пары в третьем котле, катер у трапа, баржа с углём ожидается к девяти, заболевших двое, арестованных нет. Я слушал, и половина слов вставала по местам сама, а вторую половину я складывал в сторонку — разберусь. Журнал был разграфлён от руки, чернила лиловые. Я расписался. Перо зацепило бумагу, брызнуло. Писать пером тело тоже умело лучше меня.

Восемь склянок, горн, подъём флага. Караул взял на караул, все на палубе повернулись к корме и замерли, и я замер со всеми, держа руку у козырька.

Флаг полз вверх, белое полотнище с синим крестом тяжело шевелилось в сыром воздухе. В той жизни я отстоял под этим флагом двадцать кампаний. Рука у козырька осталась стоять и после горна — я поймал это по косому взгляду караульного унтера и опустил её усилием, как опускают тугой рычаг.

— Вольно!

Палуба ожила, затопала. Я опустил руку и пошёл на мостик, на ходу принимая рейд глазами — теперь уже без паники, по-хозяйски, как принимают новое заведование.

Эскадра стояла по-зимнему, скученно. Ближе всех, через бочку, высился «Петропавловск» — флагман, приземистый, оливково-тёмный, на фор-стенгге флаг начальника эскадры. Вице-адмирал Старк. На этом корабле через четыре с половиной месяца, тридцать первого марта, должно было разорвать днище японской миной — вместе со штабом, с командой и с лучшим адмиралом, какой был у России на Тихом океане. Дистанция до «Петропавловска» была кабельтова полтора. Я смотрел на него, как смотрят на знакомого, про которого знаешь диагноз раньше врачей.

Дальше темнели «Севастополь», «Пересвет», «Победа»; у выхода дымил пятитрубный «Аскольд»; мористее стоял «Ретвизан», американская работа. «Цесаревич» с «Баяном» ещё телепались на переходе из Средиземного — и весь японский календарь стоял ровно на том, чтобы ударить раньше, чем Россия соберёт на этом театре всё, что ей положено по программе. В тот раз успели.

Между кораблями сновали катера и шлюпки, у «Севастополя» чернела водоналивная баржа, на «Пересвете» что-то клепали — стук долетал с запозданием, отдельно от взмахов. Эскадра жила, дышала, пила воду и уголь, писала рапорты.

Я поймал себя на том, что стою, положив обе руки на планширь, и рассматриваю эскадру, как разбирают чужую позицию за шахматной доской. Семь броненосцев будет к январю. У Того — шесть, но новее, однороднее, с английскими снарядами и с командами, которые два года не вылезают

из учений. У нас — вооружённый резерв: половина котлов расхоложена, машины на консервации, комендоры стреляют дважды в год по бочке. Это я тоже знал не из книг — это было видно отсюда, с мостика: над эскадрой не дымила и треть труб.

— Ваше благородие, сигнальщик докладает: с «Петропавловска» катер отвалил, к нам вроде.

— Добро. — Я повернулся. — Встретить по положению. Уставные слова лежали наготове, как снаряды в кранцах первых выстрелов. Служба и через сто лет служба. Меняются калибры, формулы остаются.

* * *

Катер с флагмана привёз пакет — обычную почту, как выяснилось, циркуляры штаба, — и вахта покатила дальше своим колесом. Я ходил по мостику, вращал.

Вращение шло двумя слоями. Верхний слой нёс службу: принимал доклады, отвечал, записывал в журнал. Нижний слой смотрел и считал, и от того, что он насчитывал, временами хотелось взять что-нибудь железное и согнуть.

Корабль стоял в резерве. Пары — в одном котле из четырнадцати, на отопление и динамо. Поднимать их во всех котлах — не час и не два, а с расхоложенными машинами добрую половину суток. И если сейчас, вот прямо сейчас, из-за Золотой горы выкатятся чужие миноносцы, то «Полтава»

сможет ответить им артиллерией с якоря — и всё. Ни хода, ни манёвра. Утюг на бочке.

А чужие миноносцы выкатятся — и я знал, в какую ночь, с точностью до часа. И ничего пока не мог с этим сделать, потому что был лейтенантом второй роты, вахтенным начальником, и между мною и эскадренными решениями лежало вёрст десять субординации.

Ничего. Я двадцать лет прослужил в организации, где между здравым смыслом и решением лежало и поболее. А идущему первым делом нужна карта. Карта — это люди.

Людей я начал считать с боцмана.

Боцман — звали его Зосима Ерофеич Лобов, и был он кондуктор, сверхсрочный, из вологодских — возник на шканцах часам к десяти, когда я спустился с мостика размять ноги. Возник по делу: к борту ждали угольную баржу, и Лобов расставлял людей. Я встал поодаль и смотрел, как он это делает.

Делал он это хорошо. Не орал — ворчал, но ворчание у него было устроено как хороший такелаж: каждое слово тянуло свой груз. Двоих молодых он переставил с борта на сходню, не объясняя; потом я понял — у тех сапоги были стоптаны до скользкого, на обледенелой палубе у борта им было не место.

— Давно служишь, Ерофеич? — спросил я, когда он проходил мимо.

Боцман остановился, посмотрел на меня снизу вверх —

он был ниже на голову, но смотрел так, что ниже казался я.

— Девятнадцатый год, вашбродь.

— На «Полтаве» с постройки?

— С Кронштадта-с. Принимал её от завода, можно сказать. — Он помолчал и добавил с расстановкой: — Котлы у ей с норовом, а так корабль правильный.

— А люди?

— Люди-с? — Он сощурился. Вопрос был нештатный; вахтенные начальники про погоду спрашивают, не про людей. — Люди как люди. Которых учат — те умеют.

— А учат?

Лобов поглядел на меня ещё раз, уже внимательно. Глаза у него были блёклые, северные, в сетке морщин.

— По резерву учения положены, как же-с, — сказал он казённым голосом. И, выдержав ровно ту паузу, какая отделяет казённое от правды, прибавил: — Бумага терпит, вашбродь.

— Бумага терпит, — согласился я. — А ну как война, Ерофеич?

— Так точно, поговаривают-с. — Он перехватил рукавицы из руки в руку. — Только, осмелюсь доложить, японец — он покуда за морем, а уголь — вот он, у борта. По одному делу зараз.

— А если японец придёт раньше, чем уголь кончится?

Лобов поднял на меня блёклые глаза и держал их на мне дольше, чем позволяет субординация.

— Тогда, вашбродь, дай бог, чтоб котлы были горячие, — сказал он наконец. — Холодный корабль — он, прости господи, как мужик сонный в драке. Бьют, а он рукавицы ищет.

Я промолчал и посмотрел на наши трубы. Из двух дымила одна, и та вполсилы.

— Так-то оно так. — Любов проследил мой взгляд и повёл подбородком в сторону флагмана, и этим подбородком было сказано всё про то, на каком ярусе решаются вопросы горячих котлов. — Наше дело малое-с.

И пошёл к сходне, потому что баржу уже подтаскивал буксирный катерок — низкую, чёрную, гружённую с горой. На барже копошились грузчики-китайцы в ватных куртках, человек восемь, и старший их, в бараньей шапке, уже сцепился лаяться с караульным унтером на смеси трёх языков.

По одному делу зараз. Я записал себе Лобова на ту страницу, где у меня свои люди. Страница пока была короткая: боцман да вестовой Михеев. Не густо для человека, собравшегося разворачивать войну. С другой стороны, у Минина с Пожарским тоже не с эскадры начиналось.

Ветер к полудню зашёл с норда и засвежел. По бассейну пошла мелкая злая рябь, баржу у борта начало поддёргивать на швартовых, и я с мостика видел, как нос её тяжело клюёт против троса. Швартов — заводила его с баржи портовая команда, пока Любов ставил людей у сходни — был положен по-портовому небрежно: верхний шлаг внатяг, нижний

слабиной, и работал он рывком, всем весом баржи на одну снасть. Я смотрел на этот трос секунды, наверное, три.

В той жизни за такой швартов я снимал с вахты. В этой — пока ещё присматривался к слову «снимал».

— Рассыльный! Боцмана ко мне.

* * *

Не успели.

Лобов ещё поднимался на мостик, когда порыв — плотный, с зарядом мокрого снега — навалился на бассейн и положил рябь набок. Баржу мотнуло. Трос выбрало втугую, она секунду висела на нём, оседая кормой, потом он лопнул — щелчок пошёл по воде, как ружейный выстрел, — и корму баржи повело от борта прочь, разворачивая её поперёк, а сходню, перекинутую с борта на баржу, потащило вместе с настилом.

На сходне был человек.

Грузчик-китаец с корзиной на плече сделал то, что делают все люди на уезжающей из-под ног доске: бросил корзину, замахал руками и шагнул не туда. Доска вывернулась. Он ударился о баржевой борт грудью, скрёб по обшивке рукавицами и пошёл вниз, в чёрный клин воды между баржей и бортом корабля. Клин закрывался: баржу, развернув, теперь вело обратно, на нас, всей её гружёной тушей.

Дальше я не думал. Дальше работал кто-то третий, со-

бранный из лейтенанта Маринина и капитана второго ранга запаса, и у этого третьего голос оказался зычный.

— Стоп выгрузка! Все с борта! — Рупор я сдёрнул с крюка не глядя. — На барже-е! Оттяжку на корму, выбирай к пирсу! Баковые — кранцы за борт, живо! Бросательные к трапу!

Палуба сыпанула народом. Кранцы — плетёные колбасы — полетели за борт между судном и баржей. С юта уже бежали двое с броском, третий тащил спасательный круг. Китаец в воде показался раз, другой — ватная куртка пока держала его, как поплавок, но клин между бортами сходился, и сходился быстро.

— Не круг! — рявкнул я. — Конец с петлёй! Под мышки брать!

Первый бросок не долетел — снесло ветром, лёг в сажени от рук. Китаец ушёл с головой, выскочил, хватил воздуха пополам с водой. Между баржевой скулой и нашим бортом оставалось аршина три.

— Второй! Выше бери, с упреждением!

Второй лёг ему на плечо. Вцепился он так, что его, наверное, можно было поднимать вместе с куском троса. Выдернули — а через вдох баржа дожала кранцы и тёрлась уже о них со скрипом, всем гружёным весом, по тому самому месту, где он только что барахтался. Через борт спасённый перевалился мешком, его сразу обступили, кто-то сдирал с него мокрую куртку, совал шинель.

Корабль даже не вздрогнул — удар съели кранцы. Лобов

— он за эти полторы минуты успел оказаться на баке, у самой работы — довязывал на кнехте новый шлаг, и вязал его правильно, с подкладкой, как и положено вязать, когда зыбь.

Я опустил рупор. Руки у меня подрагивали — теперь, когда стало можно. Я убрал их за спину. Бросок, выходит, и в девятьсот третьем кидают так же, как при мне. На этом и выехали.

На шканцах объявился старший офицер — капитан второго ранга, сухой, быстрый в движениях, с короткой тёмной бородой. Лутонин. Я знал его лицо с фотографий и усилием это знание погасил. Вахтенному начальнику неоткуда знать своего старшего офицера «с фотографий».

Он оглядел борт, баржу, мокрого китайца в чужой шинели, кранцы, новый швартов. Опрос у него занял секунд десять, и спрашивать он ничего не стал.

— Кто командовал?

— Я, Сергей Иванович.

Он посмотрел на меня. Взгляд был такой же быстрый, как движения, — оценивающий, без тепла, но и без подвоха.

— Толково, — сказал он. — Распоряжение о выгрузке — возобновить, доложите рапортом. Человека — в лазарет, осмотреть. — Он повернулся идти, но приостановился. — А швартов вы, Андрей Николаевич, когда заметили?

— До порыва, — сказал я. — Боцмана уже вызвал. Не успели перезавести.

— До порыва, — повторил он без выражения, кивнул ка-

ким-то своим мыслям и ушёл.

Китайца из лазарета выпустили через час — фельдшер нашёл ссадину на груди и испуг во всю остальную площадь. Лобов, проходя, доложил мне об этом вполголоса и добавил, что грузчики на барже промеж собой галдят: длинный начальник — он показал на меня бровями — шибко быстро кричал, кого надо вытащили. «Шибко быстро» в его пересказе звучало одобрением высшей пробы.

Вахту я сдал в полдень, как положено, сменщику — лейтенанту с рыжими бакенбардами, фамилию которого записал в журнал и в память: в кают-компании этим вечером мне предстояло знакомиться заново с двумя дюжинами людей, которых лейтенант Маринин знал годами. Об этом следовало подумать отдельно и на свежую голову. Я спустился в каюту. Михеев, сияя ушами, уже тащил обед с кают-компанейского камбуза: щи, котлета с макаронами, хлеб ноздреватый, серый.

Я ел и слушал корабль. Корабль жил вокруг — постукивал, посвистывал боцманскими дудками, гудел вентиляторными раструбами. Девятьсот третий год обступал меня со всех сторон — щами, лиловыми чернилами, цыпками на руках вестового — и был единственной наличной действительностью, никакой не историей.

После обеда я открыл конторку. Среди бумаг лейтенанта Маринина — счёты из лавок, письмо из Кронштадта, недописанный рапорт о какой-то парусиновой койке — лежали

серебряные часы. Павел Буре, поставщик Двора. На крышке — вензель с чужими, теперь моими, инициалами: «А. М.». Я открыл крышку. Часы шли.

Я завёл их, не торопясь, до упора, и положил на ладонь циферблатом вверх. Секундная стрелка бежала по своему маленькому кругу так же, как будет бежать в ночь на двадцать седьмое января, когда с тёмной стороны моря выйдут на рейд десять миноносцев и построятся в боевой порядок.

Считаем, сказал я себе. Сегодня пятнадцатое ноября. До той ночи — семьдесят два дня.

Семьдесят два дня, лейтенант. И потратить их можно только один раз.

Глава 2

Чужая память — как чужое минное заграждение: схемы нет, а ходить надо.

К вечеру первого дня я составил себе карту того, что лейтенант Маринин знать обязан и чего я не знал. Выходило скверно. Двадцать шесть офицеров кают-компания, у каждого имя-отчество, прозвище, привычки, история отношений с прежним хозяином моего тела — долги, услуги, обиды, шутки, понятные только своим. Один неверный шаг по такому полю — и пойдут разговоры. Разговоры на корабле ходят быстрее катеров.

Картой занялся Михеев.

Вестовой — это такая должность, при которой человек знает про офицеров больше, чем их родные матери, и почитает это знание законным жалованьем. Надо было только спрашивать так, чтобы вопросы выглядели ленью барина, а не допросом. Я и спрашивал — вечером, пока он разбирал мой рундук, вполголоса, между делом.

— Михеев, а что, Глеб Васильич всё дуется на меня?

— Это за что же-с? — Михеев замер с щёткой в руке.

— Ну, мало ли. Показалось за обедом.

— Да бог с вами, вашбродь. Глеб Васильич отродясь не дулись. Это они с мичманом Глазовым в контрах, за марьяж-с. А вы с ними душа в душу, почитай, с самого Крон-

штадта.

Так. Значит, с лейтенантом Рощиным мы душа в душу с Кронштадта. Запишем. А с Глазовым, выходит, марьяж — и тут память услужливо подсунула другое: восемьдесят рублей. Цифру эту я нашёл утром в бумагах конторки, на листке, исписанном почерком прежнего Маринина: «Глазову — 80. До 20-го». Сегодня было шестнадцатое.

— А жалованье у нас когда? — спросил я как бы в потолок.

— Так первого числа-с, как всегда.

Первого. А долг до двадцатого. Прежний хозяин тела, похоже, жил весело. Я открыл шкатулку, пересчитал наличность: сто сорок рублей с мелочью. Отдать восемьдесят — останется на месяц жизни, при здешних-то ценах на всё привозное. Ну что ж. Зато узнаю, что такое марьяж, не по словарю.

Бумаги прежнего Маринина я в то утро разобрал все, до последнего листка, как разбирают документы убившего офицера. Человек из них складывался понятный и не злой: служил исправно, без блеска; в карты садился чаще, чем следовало; матери в Кронштадт писал дважды в год, на Рождество и на Пасху, черновики начинал с «Дорогая маменька» и дальше первой страницы не уходил. В отдельном конверте лежала фотографическая карточка: барышня в гимназическом платье, надпись на обороте выцвела до половины — «...на добрую память. Оля». Кто такая Оля и какой давности

эта память, Михеев не знал, а спросить больше было некого. Я убрал карточку на дно ящика. Чужое — пусть лежит как чужое.

Письмо матери, между прочим, предстояло когда-нибудь писать мне. Я отложил эту мысль в самый дальний угол — туда, где у меня лежало всё, о чём думать было пока непозволительно дорого.

С деньгами вышло проще. После обеда я нашёл Глазова в батарейной палубе, у его плутонга, отвёл на два шага и отдал три четвертных и пятёрку, не дожидаясь двадцатого. Мичман порозовел, забормотал, что можно бы и не к спеху. По лицу было видно: к спеху, и ещё как — у мичманов перед жалованьем своя арифметика. Зато из его взгляда ушло то самое «значение», и в картотеке моей стало одной миной меньше.

Хуже долгов было другое. Завтра — гостевой обед в кают-компании: ждали приглашённых с «Севастополя». Стол, два десятка людей, которые знают меня годами, и я среди них — как разведчик в чужом штабе, только без легенды и без связного.

Легенду я себе всё-таки сочинил, простую, как бушлат: Маринин после вчерашнего случая с баржей сделался задумчив. Человек чуть не угробил грузчика у себя на вахте — имеет право пару недель путать отчества и переспрашивать. Под эту легенду можно было списать многое. Не всё. Но многое.

* * *

Кают-компания «Полтавы» занимала корму жилой палубы — длинный стол под белой скатертью, пианино, привинченное к переборке, портрет государя, буфет красного дерева, в буфете серебро с корабельным вензелем. Над столом покачивались на шарнирах лампы, и от их латуни по скатерти ходили жёлтые пятна. Пахло здесь иначе, чем во всём остальном корабле, — воском, сигарным табаком и чуть-чуть духами: кто-то из офицеров выписывал из Парижа одеколон и не жалел его.

К обеду собирались без спешки, с разговором у дверей, и в самом этом неторопливом сборе был свой устав, нигде не записанный и оттого особенно строгий. Хозяином стола сидел Лутонин. Старший офицер в кают-компании — государь и патриарх в одном лице; командиру здесь полагалось гостевое кресло и общий почёт, но не власть. Я знал этот порядок головой, по книгам; теперь смотрел, как он живёт в натуре — в том, кто когда садится, кто кому передаёт графин, кто смеет перебивать рассказчика, а кто сидит тихо, потому что мичману в первые полгода положено быть мебелью. Ломать этот порядок не стоило и пробовать. По нему стоило выучиться ходить, как по своему кораблю в темноте.

Меня усадили на моё, маринское, место — между штурманским офицером и Роциным. Вестовой бесшумно подвинул стул и так же бесшумно исчез; перед прибором лежала свёрнутая салфетка в серебряном кольце с царапиной попе-

рёк вензеля. Кольцо было моё — то есть его, Маринина. Я расправил салфетку с таким чувством, с каким сапёр поднимает чужой инструмент. Всё здесь было пригнано к человеку, которого больше не было.

Рощин Глеб Васильевич оказался моих лет, плотный, румяный, с залысинами над высоким лбом и быстрыми насмешливыми глазами. Артиллерист, плутонговый командир. По карте Михеева — лучший мой друг на корабле, что было удобно и опасно в равной мере: друзья замечают перемены первыми. Он осмотрел меня поверх тарелки, как осматривают орудие после осечки.

— Андрюша, ты, говорят, вчера в водолазы записался. Китайцев из бассейна таскаешь.

— Не сам. Людьми.

— Ну да, ну да. А Сергей Иваныч тебя при всех «толковым» обозвал. Это, брат, в нашем климате почище Анны на шею. Гляди, загордишься.

— Не успею. Мне ещё бумагу писать про помятый выстрел.

— Вот! — Рощин поднял палец и обвёл им стол. — Вот за это я люблю флот российский. Подвиг — мгновение, а бумага — вечность.

Стол отозвался смешками. Я смеялся со всеми и слушал, как держат руку на штурвале: каждое имя, каждое отчество, каждую интонацию — в картотеку. Штурмана звали Николаем Аркадьевичем; механика, седого, с руками в несмыва-

емой угольной графике, — дедом, и по имени к нему не обращался никто, кроме Лутонина; доктор был молод, скучен и ел молча; мичман Глазов — тот самый, марьяжный, — сидел на дальнем конце и смотрел на меня уже без вчерашнего значения, а с той старательной приветливостью, какая бывает у людей, которым вернули долг раньше срока.

подавали щи с головизной, потом жаркое; вестовые двигались за спинами бесшумно, как тени в белом. Разговор шёл волнами — про охоту на фазанов в Голубиной бухте, про новую певицу в собрании, про то, что в Дальнем опять подорожал лёд для погребов. Дед-механик ворчал на смазочное масло последней поставки — масло, по его словам, было «с подмесом, как совесть у подрядчика», — и требовал у доктора подтверждения, что от такого масла подшипникам бывает чахотка. Доктор молча ел. Гость с «Севастополя» рассказывал, как у них на корабле завели граммофон и что из этого вышло на молебне. Стол жил ровной, сытой, вековой жизнью офицерского собрания, и я уже начинал верить, что вечер пройдёт по тихой воде.

По тихой воде он шёл до самого чая.

* * *

За чаем гость с «Севастополя», грузный лейтенант с золотым пенсне на шнурке, развернул привезённый с берега номер «Нового края» и прочёл вслух — со вкусом, как читают фельетоны, — телеграмму о ходе переговоров с Токио. Выходило по газете, что Япония упорствует в корейском во-

просе, но круги, близкие к осведомлённым, смотрят на дело с уверенностью.

— И правильно смотрят, — сказал штурман, отставляя стакан. — Не полезут. Куда им против нас, господа, — сами посудите: тоннаж, калибры

— Тоннаж у них, Николай Аркадьич, между прочим, свежей нашего, — заметил Рошин лениво, но без напора, как замечают для порядка.

— Свежей! А люди? Сорок лет назад они с луками бежали. Флоту цена — традиция. У нас Ушаков с Нахимовым за спиной, у них что? Бумажные фонарики?

— Ялу у них за спиной, — сказал я. — Девяносто четвёртый год. И Вэйхайвэй.

Сказал — и почувствовал, как у стола чуть переменялся воздух. Переменялся от тона. Так о противнике говорят люди, которые с ним работали, водили против него корабли и считали его снаряды.

— Ну, побили китайцев, велика доблесть, — пожал плечами штурман. — Китайцев все бьют.

— Били, Николай Аркадьич, не китайцев. Били эскадру, которая на бумаге была сильнее. Аккуратно били: ночь, миноносцы, потом артиллерия с дальней дистанции. — Я отодвинул стакан. — Они так с тех пор и учатся: десять лет, каждую кампанию, по одной программе. А мы с вами в резерве стоим и фазанов считаем.

— Господа, господа, — поднял ладонь гость с «Севасто-

поля». — Не за чаем же о службе.

— Отчего же не за чаем, — сказал от своего конца Лутонин. Негромко сказал, но стол притих. Хозяин разрешил разговор, и это слышали все до последнего мичмана. — Продолжайте, Андрей Николаевич. Вы, я вижу, считали.

Считал, Сергей Иванович. Тридцать лет считал, по обеим официальным историям и по такому количеству бумаги, какого здесь ещё не написали. Вслух я сказал другое:

— Извольте. Первое — корабли. Японская судостроительная программа — шесть броненосцев, шесть броненосных крейсеров — выполнена: к прошлому году всё пришло из Англии. Достроить к войне они уже ничего не успеют — разве что купить готовое, и то по мелочи. Их флот дальше не растёт. А наш — растёт: «Цесаревич» с «Баяном» на подходе, на Балтике достраиваются ещё. Каждый месяц мира работает на нас и против них.

— Положим, — сказал штурман с неохотой человека, у которого отнимают удобную мысль.

— Второе — деньги. — Я загнул палец. — Современная война на море стоит миллионы в месяц. Своих денег у них — на полгода войны, остальное придётся занимать в Лондоне. А кредит, господа, имеет свойство: он дешевле всего до первого выстрела и дороже всего после первого поражения. Им нельзя воевать долго. Значит, им нужна война короткая.

— А японский бюджет вы, Андрей Николаевич, откуда так точно изволите знать? — Штурман сощурился, и вопрос

был хороший, прицельный.

— «Морской сборник» печатает их морские росписи. Второй год.

— И вы их читаете?

— И складываю, Николай Аркадьич.

Это был пропущенный удар, и я его почувствовал: «читаю и складываю» — отговорка для своих, проверять никто не пойдёт, но штурман отложил её куда-то за обшлаг, я видел. Отложил — и промолчал.

— Третье — зима. — Я загнул второй палец. — Корея и Жёлтое море зимой не замерзают, перевозке десанта лёд не мешает. А наши подкрепления собираются на этот театр по одной колее через всю Сибирь, эшелон за эшелон, месяцами. Летом мы сильнее на море и на суше. Зимой — только на бумаге.

Я положил руки на скатерть и оглядел стол. Слушали все — даже доктор перестал есть.

— Теперь сложите, господа. Воевать им нужно коротко, начинать — пока флоты сравнимы и пока наша армия в вагонах. Это значит — эта зима. А раз так, то первая их забота — наша эскадра: пока она цела, ни один транспорт с десантом моря не пересечёт. Уничтожить её в бою они не могут — сил впритык. Остаётся что? — Я обвёл стол глазами, как обводил когда-то аудиторию. — Остаётся застать её на якоре. Внезапно. Ночью. Миноносцами. До всякого объявления войны. Другого способа уравнивать силы у них нет — а они

умеют считать не хуже нашего.

Над столом повисло то особое молчание, в котором слышно, как шипит самовар.

— Мрачно излагаете, — сказал наконец дед-механик и побарабанил пальцами по столу. — Складно, но мрачно.

— Это вам, Андрей Николаевич, в академию надо, — хотнул гость с «Севастополя», и пенсне его блеснуло. — Этакие страсти. Ночью, миноносцами! Без объявления войны не воюют-с. Девятнадцатый век на дворе кончился, есть конвенции

— Конвенции есть, — согласился я. — А прецедент тоже есть: китайскую войну они начали ровно так. Сначала утопили транспорт, потом объявили.

— То азиаты с азиатами!

— А мы для них кто, позвольте спросить?

Рощин крякнул и засмеялся первым; за ним, нехотя, потянулся стол. Смех вышел кривой, неловкий — смеялись не над шуткой.

— Господа, — гость с «Севастополя» снял пенсне и протёр его салфеткой, что должно было означать переход к высшим материям. — Всё это арифметика, а есть политика. Англия не даст своему капиталу пропасть, Америка не даст, Петербург договорится. Помяните моё слово: к Пасхе о Корее никто и не вспомнит.

— Дай-то бог, — сказал Лутонин ровно. — Чаю ещё, господа?

И этим «чаю ещё» разговор был закрыт — так дверь закрывают: без стука, но до конца. Стол послушно повернул на фазанов. Только штурман до самого конца вечера смотрел в свой стакан, что-то в нём пересчитывая, да дед-механик, уходя, задержался возле меня на полшага.

— Про деньги — это вы верно, — сказал он вполголоса. — Я на их «Фудзи» был в Нагасаки, в девяносто девятом, с визитом. Машины у них, доложу вам, в таком порядке, в каком у нас бумаги не во всяком штабе. — И ушёл, унося свои руки в угольной графике.

Из всего вечера эти полслова стоили дороже многого. Дед видел их машины своими глазами. Дед мрачности не удивился.

* * *

— Нет, ты это всерьёз? — Рошин догнал меня после чая в коридоре, у каютных дверей. Глаза у него уже не смеялись. — Про зиму, про миноносцы?

— Всерьёз.

— Откуда такая точность, Андрюша? Ты ж в прошлый четверг сам говорил: пугают японцем, как дети букой.

В прошлый четверг. Спасибо, Глеб Васильевич, буду знать, что говорил в прошлый четверг человек, чьим голосом я теперь разговариваю.

— В прошлый четверг я ещё не сидел ночь над цифрами. — Я развёл руками. — Сел. Посчитал. Испугался. Делюсь.

— Цифры, цифры — Он пожевал губами. — Цифры у

тебя складные, не спорю. А только знаешь, что я тебе скажу? Не будет никакой войны. Государь не хочет, Витте не хочет, японцы поторгуются и съедут на половине. Хочешь — пари?

— Хочу, — сказал я. — Ящик шампанского. Если до конца января они не начнут — плачу я. Если начнут — с тебя. И вторая половина пари, Глеб: если начнут — ты неделю исполняешь любую мою просьбу по службе. Любую, без вопросов.

— Эва. — Рошин прищурился. — А тебе-то это зачем?

— Затем, что одному мне эту неделю не вытянуть.

Он смотрел на меня несколько долгих секунд — так смотрят на знакомую карту, на которой вдруг проступила вторая сетка координат.

— Тёмный ты стал какой-то после этой баржи, Андрюша, — сказал он наконец. — Ну, изволь. Ящик и неделя. При свидетелях не объявляем, а то засмеют... — он усмехнулся, — тебя.

Мы ударили по рукам. Ладонь у него была твёрдая, артиллерийская, с роговой мозолью от рукояток. Пари он, по глазам видать, считал выигранным уже сейчас — и ящик шампанского мысленно ставил в свой угол. Тем лучше. Должник из Рощина вышел бы кислый, а вот честный проигравший — это в январе будет на вес золота.

А ещё через четверть часа, когда я уже взялся за ручку своей каюты, меня окликнули из конца коридора. Лутонин стоял у трапа со свечой в руке — электричество на ночь в

жилой палубе притушили — и смотрел на меня снизу вверх, и от свечи тени на его лице лежали резко, по-стариковски.

— Андрей Николаевич. То, что вы за столом излагали, — это у вас в голове или на бумаге?

— В голове, Сергей Иванович.

— Переложите на бумагу. — Он сказал это тем же тоном, каким принимал доклад о барже: без выражения, по-деловому. — Без чувств, одни выкладки: сроки, силы, что считаете вероятным. Частным порядком, мне лично. Двух дней достанет?

— Достанет.

— Вот и докажете, что считали, а не пророчествовали. — Он повернулся, шагнул на трап и добавил, не оборачиваясь: — Пророков, Андрей Николаевич, на флоте не любят. Счетоводов — терпят.

Свеча ушла вверх по трапу, и тени ушли за ней.

Я закрыл за собой дверь каюты, сел к конторке и долго сидел, не зажигая лампы. За переборкой жил корабль: где-то прозвонили склянки, где-то прошёл с обходом унтер, в трубе вентилятора ровно гудел воздух девятьсот третьего года.

Итог дня я подводил по привычке, как подводят счисление: пройдено, снесено, невязка. Пройдено: долг закрыт, Глазов нейтрализован, стол выслушал расчёт и не поднял на смех — почти. Снесено: штурман обижен, гость с «Севастополя» понесёт по своей кают-компании рассказ про «полтавского стратега», и рассказ этот дойдёт куда не надо раньше

самой записки. Невязка: Рошин. Рошин задал вопрос, на который у меня не было ответа, — «откуда такая точность», — и проглотил мою отговорку только потому, что друзьям отговорки прощают. Первую. Дальше будет считать сам, он артиллерист, у него с арифметикой хорошо.

Я зажёл лампу, придвинул чернильницу, положил перед собой чистый лист.

И увидел, что рука с пером стоит над бумагой и не пишет. Потому что одно дело — знать будущее. И совсем другое — впервые подписать его своим именем. С понедельника эта бумага пойдёт жить своей жизнью: ляжет в чью-то папку, попадётся на чьи-то глаза, и где-нибудь в январе, когда всё сбудется до запятой, кто-нибудь умный её перечитает и спросит себя: а откуда, собственно, лейтенант с «Полтавы» знал расписание чужой войны?

Я обмакнул перо.

Значит, бумага должна быть такой, чтобы на этот вопрос в ней же лежал ответ: считал. Всё посчитано, всё сходится, всё из открытых телеграмм и справочников. Ни одной цифры, которой не мог бы добыть усидчивый офицер с карандашом. «Морской сборник» за три года, английский «Брассей», телеграммы агентства из «Нового края» — у любого факта в записке должна стоять родословная, чистая, как у призового жеребца. И ни слова о датах. Сроки — только вилкой, только «вероятнее всего», и каждая вилка — с выкладкой, почему.

А самое трудное в этой бумаге было не написать лишнего.

Не написать про сетевое заграждение, которое опускают по боевому расписанию. Не написать про дежурные дивизионы с парами во всех котлах. Не написать десяти страниц о том, что я сделал бы, командуй я эскадрой, — потому что лейтенант, который учит адмиралов строить оборону, отправляется не в штаб, а в сумасшедший дом, и записка его — в печку. Лейтенанту дозволено одно: вежливо посчитать чужие возможности. Выводы пусть делает тот, кто будет читать. Если я хоть что-то понимаю в людях, Лутонин выводы сделает — и тогда следующую бумагу у меня уже попросят.

«Записка о вероятном образе действий японского флота», — вывел я сверху и хмыкнул. Почерк был маринский, ровный, писарский, с лёгким наклоном вправо и аккуратными хвостами у выносных букв. Хоть что-то в этом деле было у нас общее.

Два дня на записку. До войны оставалось семьдесят. Я писал до четвёртой склянки.

Глава 3

Записку я отдал Лутонину девятнадцатого, до подъёма флага.

Восемь листов, исписанных с одной стороны, ровным маринским почерком, без единой помарки — третий чистовик. Силы сторон по справочникам, финансы по открытым росписям, расписание зимних месяцев по здравому смыслу. Сроки — вилками, выводы — вопросами. На полях — ссылки: «Морской сборник», «Брассей», телеграммы агентства. У каждой цифры — происхождение и обратный адрес.

Лутонин принял листы, взвесил их на ладони, будто вес бумаги что-то решал, и спросил только:

— Копию себе оставили?

— Черновики, Сергей Иванович.

— Сожгите, — сказал он буднично. — Бумага такого сорта живёт либо в одном экземпляре, либо в типографии. Среднего ей не дано.

И ушёл к себе, а я остался стоять с этим его «сожгите» и с новым знанием о старшем офицере. Он понял про записку больше, чем я в неё положил.

Черновики я в тот же вечер сжёг по листу над медным тазом, глядя, как чернеют и сворачиваются мои выкладки. Огню они нравились. Хоть кому-то сразу и без оговорок.

Дальше записка пошла жить своей жизнью, и жизнь эта

оказалась короткой. День было тихо. Наутро Михеев, подавая чай, доложил между прочим, что вестовой командира вчера дважды носил в салон чай на двоих и что Сергей Иванович выходили оттуда «сурьёзные». Агентурная сеть у меня, выходит, уже была — не хуже японской, и жалованья не просила. А после обеда меня вызвали к командиру.

Капитан первого ранга Успенский принял меня в своём салоне — просторном, с ковром и фикусом в кадке, с фотографиями кораблей по переборкам. Записка лежала перед ним на столе, и по тому, как она лежала — ровно посередине, выровненная по краю сукна, — я понял всё раньше, чем он открыл рот. Так выравнивают бумагу, с которой решили не работать.

— Садитесь, Андрей Николаевич. — Он снял очки, протёр их, надел снова. Был он немолод, грузноват, с усталыми умными глазами человека, который двадцать лет тянет лямку и знает ей цену. — Прочёл. И Сергей Иванович прочёл, и оба мы с ним согласны: написано дельно. Считать вы умеете, это в вас есть.

— Благодарю, Иван Петрович.

— Не спешите благодарить. — Он положил ладонь на записку. — Теперь послушайте меня, и послушайте внимательно, потому что я вам говорю то, что вам никто помоложе не скажет. Ход бумаге я не дам.

Я молчал. Молчание у меня было припасено заранее.

— Не потому, что вы неправы, — продолжал Успенский

ровно. — Может, правы, может, нет — это бог рассудит. А потому, что бумага эта — не по чину. Лейтенант, вахтенный начальник, подаёт командиру расчёт войны на театре. Что я с ним должен делать? Послать в штаб эскадры? Там спросят: а с какой стати у вас лейтенанты эскадренной стратегией занимаются — у него что, вахта мала? И будут правы. Положить под сукно? Тогда зачем брал. Эскадра, Андрей Николаевич, в вооружённом резерве по высочайше утверждённому положению. Сие значит: наверху смотрят на вещи иначе, чем вам с вашей арифметикой видится. И менять это снизу — он чуть откинулся, и кресло скрипнуло, — снизу это не меняется. Поверьте человеку, который пробовал.

Вот это «который пробовал» было самое интересное во всём разговоре. Где-то за этими усталыми глазами лежала своя записка, свой салон и свой каперанг, выравнивавший её по краю сукна.

— Разрешите вопрос, Иван Петрович?

— Извольте.

— То, что в пределах корабля и моей вахты, — расчёты у орудий по ночной тревоге, замеры времени, наблюдение за рейдом, — на это мне ваше разрешение требуется или достанет Сергея Ивановича?

Успенский посмотрел на меня долгим взглядом поверх очков. В глазах его что-то шевельнулось — не смех, но родня смеху.

— На службу разрешения не требуется, — сказал он су-

хо. — Требуется на панику. Паники чтоб не было. Учитесь сколько влезет, на то вы и офицер. Об одном прошу: без фанатизма и без разговоров на берегу. Ступайте.

Я вышел из салона с записанным в пассив рапортом и с записанным в актив разрешением. Пассив был ожидаемый, а вот актив оказался больше ожидаемого. Стену лбом не пробили — так я и не лбом её собирался брать. Я собирался её обойти.

Разрешением я воспользовался в ту же ночь. В четвёртом часу, на своей вахте, сыграл учебную тревогу левому борту — тихую, без горна, голосом и рассыльными, как оно и будет, если будет. Стоял с часами у шестидюймовой башни и смотрел, как из люков лезут тени, на ходу влезая в бушлаты, как комендор спросонья бьётся плечом о комингс и шипит, как наводчик возится с замком. Четыре с половиной минуты до «готово». В той жизни за такое время я бы снял с должности себя. В этой — записал цифру в книжку: отправная точка. Ночь спустя повторил, и цифра сползла к четырём. Люди ворчали — беззлобно, по-флотски: чудит лейтенант. Лобов не ворчал. Лобов после второго раза спросил только: «К какому сроку поспеть надо, вашбродь?» — и, не дождав-шись ответа, кивнул своим мыслям и стал гонять прислугу сам, без моих напоминаний.

* * *

Перед тем, девятнадцатого, — в тот самый день, когда записка ушла Лутонину, — после полудня на рейд пришли «Цесаревич» и «Баян».

Их ждали с утра; к полудню Золотая гора подняла сигнал, и всё, что было на эскадре свободного от вахты, полезло наверх — на мостики, на марсы. Мы с Рощиным забрались на фор-марс, откуда поверх Тигрового хвоста видна полоса внешнего рейда. Сначала из серой мглы выросли дымы, потом мачты, потом — корпуса.

«Цесаревич» шёл первым. Огромный, в свежей белой краске, с заваленными внутрь бортами французской постройки, с башнями, поднятыми над палубой, как кулаки над столом, — он был красив той тяжёлой, неудобной красотой, от которой у военного человека сохнет во рту. За ним катился «Баян» — ладный, быстрый даже на малом ходу, крейсер, каких у нас на эскадре ещё не было.

С внешнего рейда ударил салют — пятнадцать выстрелов флагу, и крепость отвечала; сигнальщики на Золотой горе работали флагами без передышки, а по гавани, перекачиваясь от борта к борту, шло «ура» с тех кораблей, кому было видно. Оба пришедших были ещё белые, средиземноморской окраски, и среди оливковой, по-боевому тёмной эскадры смотрелись гостями из другой, мирной жизни. Ничего. Перекрасят. Эскадра встречала пополнение, как семья встречает с поезда богатую родню: с радостью и с прикидкой, куда поставим и чем это нам ещё обернётся.

— Хорош, — сказал Роцин с чувством. — Нет, ты глянь, Андрюша, до чего ж хорош, мерзавец. С таким и воевать не стыдно.

— С таким — не стыдно.

Я смотрел на «Цесаревич» и видел двойное: вот он идёт, новенький, небитый, и вот он же — через без малого семьдесят дней, с пластырем на подводной пробоине, кренится у стенки, и кессонщики месяцами латают ему борт, потому что дока под его водоизмещение в Артуре нет. Одна из трёх торпед той ночи — его. Если ничего не менять.

Я собирался менять.

— Чего молчишь? — Роцин толкнул меня плечом. — Любишься, стратег. Два вымпела пришло, твоя арифметика похудела: теперь нас не догнать.

— Глеб, у тебя плутонг по ночному расписанию за сколько к орудиям встаёт?

— Тыфу на тебя. — Он сплюнул за борт, но беззлобно. — Праздник у людей, а он со своим секундомером. Ну, минут за восемь встаёт, если унтер не спит.

— А если в эти восемь минут по тебе уже стреляют?

Роцин повернулся ко мне, и насмешка с его лица сошла не вся — но наполовину сошла.

— Заноза ты, Маринин, — сказал он. — Вот пристал и сверлишь. Ладно. После праздника приходи на плутонг, посверлим вместе. Только уговор: про войну свою больше ни слова, пока сама не придёт. Надоел.

— Уговор.

Своё слово Рошин сдержал на третий же день: я пришёл к нему на плутонг с часами, и мы два часа гоняли его расчёты от коек до замков, на счёт, со злостью. Восемь минут усохли до пяти с половиной. Рошин сперва командовал нехотя, для приятеля, потом разошёлся, снял фуражку и сам встал к подаче — показывать, как надо подавать, чтобы не толкаться локтями у элеватора. Артиллерист в нём был сильнее скептика. На пятом прогоне он объявил перекур, сел на кранец, вытер лоб и сказал, ни к кому не обращаясь: «А ведь привыкнут — за четыре будут вставать». И посмотрел на меня так, словно это я был виноват, что ему сделалось интересно.

Про войну я мог и ни слова. Слово было сказано, дальше работало время. Семьдесят дней — это много, если ждать, и совсем мало, если готовиться. Я готовился: с того гостевого обеда у меня в записной книжке появился особый разряд — «сделано». Записей в нём было пока две: расчёты моей вахты укладывались в норматив, какого я в той жизни требовал бы от хорошего корабля, и Лобов по моей просьбе и будто бы своей охотой гонял прислугу у шестидюймовок левого борта. Рошин, сам того не зная, только что записался третьим пунктом.

Мало. Смехотворно мало против десяти миноносцев. Но любой счёт начинается с единицы.

* * *

В субботу я взял увольнение на берег — первый раз в этой жизни.

Порт-Артур встретил меня запахом угля, мороженой рыбы и пыли, которую здесь не убивал даже ноябрь. Город лепился между сопками без плана и без смысла: Старый город — серый, китайский, с кривыми улочками и вывесками в иероглифах; Новый — казённый, прямой, с телеграфными столбами и свежими фасадами, за которыми ещё не просохла штукатурка. По улицам тянулись обозы с лесом и цементом — на укрепления; рикши шныряли между подвод; у пристани бранились грузчики. На углу у почтовой конторы мёрз полицейский стражник; из харчевни напротив пахло жареным луком и ханшином, и оттуда же неслась гармоника — мастеровые с порта гуляли субботу. Цены здесь стояли дальневосточные, злые: извозчик просил как за тройку в Петербурге, фунт сахару шёл втридорога, и всё равно всё покупалось, потому что денег город зарабатывал много и быстро. Город строился, торговал, наживался и в войну не верил совершенно.

Я шёл по нему, как ходят по музею до пожара. Вот эту улицу я видел на фотографии — после: воронка, скелет дома, телеграфный столб с обвисшими проводами. Я останавливал эту мысль, как останавливают занос — рулём, без паники, — и шёл дальше. Работаем.

Дела на берегу у меня были придуманы заранее, и все

три — невинные, как гимназический табель. Часовая мастерская: у Буре забарахлила минутная стрелка — предлог. Книжная лавка: спросить лоцию и календарь на новый год — предлог. Морской госпиталь: проведать матроса с «Полтавы», списанного с грыжей, — почти и не предлог даже, Лобов просил передать гостинец.

В часовой мастерской стрелку поправили при мне, за четвертак. В книжной лавке лоция нашлась, календарь нет; зато на прилавке стопкой лежали разговорники — русско-японский, для господ офицеров и коммерсантов, новенькие, свежей печати. Торговля знала что-то, чего не знал штаб наместника. Торговля всегда знает первой.

Госпиталь стоял на склоне, белый, длинный, с широкими окнами. В палатах пахло карболкой и щами. Матрос мой нашёлся в четвёртой палате, осоловелый от безделья; гостинцу обрадовался как ребёнок, спрятал кулёк под подушку и долго тряс мне руку. Полчаса я просидел у его койки, слушая госпитальные новости: кормят сносно, доктор строгий, через койку лежит стрелок с Тигрового, который видел тигра, врёт, поди. Я слушал и смотрел в широкое окно — на гавань. Из госпитального окна гавань лежала как на штабной карте, вся: бассейны, проход, рейд. Госпиталь жил щами и тиграми.

На обратном пути, в коридоре, мне навстречу прошагала сестра милосердия — серое платье, белая косынка с красным крестом, в обеих руках по жестяному судку. Я бы не запомнил её вовсе, если бы не одно: у дверей палаты она

остановилась и выговорила санитару — негромко, без визга, тоном старшего офицера, делающего замечание вахтенному: «Захар Фомич, я вас в третий раз прошу: больным из шестой не носить от печки. Угар туда тянет, а у них и так грудь слабая. Носите из коридора». Санитар, мужик вдвое старше её, вытянулся и сказал: «Слушаюсь, сестрица».

Я прошёл мимо, унося этот голос. Лица я толком не разглядел — косынка да брови, — а вот интонацию унёс целиком. Людей, умеющих сказать «в третий раз прошу» так, чтобы вытягивались, я уважал профессионально, независимо от пола и ведомства. А ещё она, уже уходя, мимоходом поправила занавеску на коридорном окне — никому, просто чтобы висела ровно. Вот это не ложилось ни в какую картошку. Я и сам не знал, зачем запомнил.

Дальше был Старый город, и там я наконец занялся тем, ради чего на самом деле сходил на берег: смотрел.

Смотреть было на что. Японских вывесок на главной торговой улице я насчитал одиннадцать. Парикмахерские, прачечные, фотографический павильон, два магазина «всё для дома», часовая мастерская — не Буре, попроще. Торговали бойко, кланялись низко, говорили по-русски чисто. У фотографического павильона стояла на треноге камера под чёрным сукном, и хозяин, сухонький, в европейском пальто, снимал группу казаков на фоне нарисованной Фудзиямы. Казаки ржали и поправляли папахи.

В той жизни я читал про артурскую агентуру целые главы:

парикмахеры, оказавшиеся штабс-капитанами, прачки, считавшие бельё по эскадренным спискам, фотограф с подозрительной трубой над объективом. Читать было занятно. Ходить среди этого живьём оказалось тошно, как тошно бывает от спокойной наглости: они работали у всех на виду, под защитой консульских печатей из Чифу и нашего русского «да полно вам, господа, что за шпиномания».

Я купил у фотографа три открытки с видами гавани. Хорошие открытки, резкие. С таких открыток удобно промерять дистанции.

* * *

К Электрическому утёсу я вышел уже в сумерках, кружным путём, дорогой на Золотую гору, — хотелось посмотреть на батареи не из книги. И там увидел картинку, от которой остановился.

На обочине, шагах в полутораста от проволочного ограждения батареи, стоял давешний фотограф. Тренога, чёрное сукно, сам — согнулся под накидкой, будто снимает закат над морем. Закат был так себе, серый. Зато в кадр ему, если я что-то понимал в оптике, ложился весь левый фас батареи с орудийными двориками и дальномерным постом.

Мимо, по дороге, шёл флотский патруль — унтер и двое матросов. Шёл и проходил: человек с камерой, бумаги небось в порядке, закат снимает, эка невидаль.

— Унтер-офицер! — Голоса я не повышал, но поставил его так, как ставят на юте в свежую погоду. — Ко мне.

Патруль подобрался и подошёл. Фотограф под сукном не шелохнулся — слышал, конечно, но снимал.

— Видишь художника? — спросил я негромко. — Подойдешь, вежливо попросишь господина показать разрешение на съёмку в крепостном районе. Бумаги, фамилия. С ним не препираться.

— Так точно. А пластинки как же?

— Пластинки — моя забота.

Фотограф вынырнул из-под сукна заранее, ещё на наших шагах. Улыбался, кланялся, бумагу показал прежде, чем унтер договорил: печать японского консула в Чифу, всё в порядке, и русская речь в порядке — «закат, господин офицер, единственно закат». А вот пластинки отдать он отказался. Вежливо, твёрдо, со ссылкой на частную собственность: жаловаться будет консулу, и господину коменданту тоже будет.

Унтер оглянулся на меня. И был прав, что оглянулся. По закону флотский лейтенант на шоссе — никто. Не комендант, не полиция, не жандарм. Это знал я, это, судя по спокойной улыбке, отлично знал и фотограф.

— Изымаю как старший воинский начальник на месте, в крепостном районе, — сказал я, и сам услышал, до чего шатко это звучит. — Под расписку. Жалобу — коменданту крепости, копию куда угодно. Унтер, пиши расписку.

Считал я просто. Скандал стоит дешёво, дальномерный

пост на стеклянной пластинке — дорого. Но Успенский просил «без разговоров на берегу», а разговоры теперь будут, и дойдут, и всплывут где не надо. Выбор был между шумом и постом на стекле. Я выбрал шум и знал, что когда-нибудь мне его припомнят.

Фотограф отдал кассеты, не переставая улыбаться, — и только в самой глубине его вежливых глаз один раз, на полсекунды, проступило другое: холодное, оценивающее, профессиональное. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Мы друг друга поняли без переводчика.

Конный разъезд — он пылил от Золотой горы и поспел к самой расписке — вёл жандармский ротмистр, которому, как выяснилось, про фотографа уже третью неделю писали с батареи. И третью неделю он не мог его тронуть: бумаги в порядке, состава нет, а на одно «снимает закаты» прокурор не даст и городского.

— Вы, господин лейтенант, сейчас изволили сделать то, чего мне три недели нельзя, — сказал он вместо приветствия, перебирая кассеты. — Имейте в виду: жалобу он подаст.

— Пусть подаёт. Жалоба — бумага, бумага ходит по инстанциям. К февралю дойдёт.

Ротмистр поднял на меня глаза. Что-то он в этих моих словах слышал — не смысл, смысла там ещё не было, а вес.

— А что у нас в феврале, господин лейтенант?

— Поговорим в феврале, господин ротмистр.

Ротмистра звали Векшин, Павел Карлович. Он был сухой, лет сорока, с прокуренными усами и глазами того особого жандармского устройства, которые смотрят на вас и одновременно на улицу за вашей спиной. Мы прошлись с ним вдоль дороги до поворота, и за десять минут он успел спросить меня о пятнадцати вещах, не задав ни одного вопроса впрямую.

— Занятно мне, господин лейтенант, — сказал он наконец, закуривая на ветру со второй спички, — отчего флотский офицер на прогулке смотрит не на море, а на обочину. Моряки обыкновенно наоборот-с.

— Море я знаю, Павел Карлович. Обочина новее.

— А-а. — Он выпустил дым в сторону. — Ну да, ну да. Знаете, сколько в этом городе таких фотографов, прачек и парикмахеров, по моему скромному счёту? Десятка четыре. А тронь любого — визг подыметя до Чифу, а из Чифу до Петербурга, и мне же первому по шапке. Высылаю одного — на пароходе приезжают двое. И все снимают закаты.

— А телеграммы их вы считаете, Павел Карлович?

Векшин остановился. Спичка догорела у него в пальцах, и он бросил её, не заметив.

— Какие телеграммы?

— Коммерческие. Парикмахер, который шлёт в Нагасаки по три телеграммы в неделю о ценах на мыло, — это очень прилежный парикмахер. Особенно если цены на мыло не меняются.

Он посмотрел на меня сбоку, длинно, и усы его дрогнули — то ли усмешка, то ли прикидка.

— Флотский, говорите, офицер, — сказал он непонятно к чему. — К чему я начал-то. К тому, что пластинки ваши — капля в море, а вот привычка ваша смотреть на обочину — редкая. Будете на берегу — заходите в управление, запросто. Чаю у нас не подают, зато врать не принято. Для города это, поверьте, неслыханная роскошь.

Мы раскланялись. Я шёл к пристани в темноте, между жёлтых пятен фонарей, и думал, что в записной книжке было: пункт четвёртый — жандармский ротмистр, который три недели ждал повода и помнит счёт до сорока. Жандармов в той моей жизни принято было поминать нехорошим словом, и в книгах они выходили либо дураками, либо душителами. Векшин не был ни тем ни другим. Векшин был одинокий профессионал на громадном пустом фланге, и таких я собирал теперь, как собирают перед штормом всё, что плавает.

У пристани, в круге фонарного света, мальчишка-газетчик орал про телеграммы из Токио. Я купил листок. Переговоры продолжались. Стороны обменивались нотами.

До войны оставалось шестьдесят пять дней. Я сложил листок вчетверо — к открыткам с гаванью — и пошёл искать шлюпку.

Глава 4

На миноносцы меня вывел минный офицер «Полтавы» лейтенант Карцев — человек, с которым прежний Маринин дружил сдержанно, по-соседски, а я за две недели сдружился всерьёз: у минёров с попаданцами есть общее, оба знают про эту эпоху что-то, чего эпоха про себя ещё не поняла.

Карцев был человек, на «Полтаве» считавшийся чудачком: тощий, очкастый, с вечно обожжёнными кислотой пальцами, он всерьёз полагал, что будущая война на море — это мина, а не пушка, и имел неосторожность говорить об этом вслух в кают-компании, где артиллеристы держали большинство. Его слушали со снисходительной скукой, как слушают человека, увлечённого воздухоплаванием. Я его слушал иначе. Я-то знал, что он прав: эту войну выиграют и проиграют миной — якорной, самодвижущейся, всякой, — и из всех офицеров «Полтавы» именно очкастый Карцев понимал будущее лучше всех адмиралов эскадры. Говорить ему об этом было нельзя. Можно было подсаживаться с вопросами — и я подсаживался все две недели, и вопросы мои ему нравились: дельные были вопросы, от человека, читавшего, как выяснилось, всё то же, что и он.

Началось с разговора в кают-компании, продолжилось на юте. Карцев жаловался — не мне, мирозданию, — что от-

ряд миноносцев гоняют в практические выходы и сторожевую службу через день, что вахтенных начальников на отряде некомплект, что командиры не спят по двое суток и что штаб на всё это отвечает словом «изыщите». Я слушал ровно до второго «изыщите».

— А бери меня, — сказал я. — В охотники.

— Куда — тебя? — не понял Карцев.

— На отряд. Вахтенным начальником, на выходы. У меня через две вахты на третью — пустые сутки, корабль в резерве, со скуки лоции читаю. Оформи через своего Огарёва как прикомандирование на выход, по согласию старшего офицера. Лутонин даст.

— С чего бы это Лутонин даст?

— С того, что я у него попрошу.

Карцев поправил очки и посмотрел на меня с новым интересом.

— Послушай, Маринин, — сказал он. — Я тебя восьмой год знаю. Ты восьмой год живёшь по правилу «не высывайся, и тебя не тронут». А теперь сам напрашиваешься на миноносцы. В декабре. В зыбь. Даром. Я минёр, я в самопроизвольные срабатывания не верю — у всякого взрыва есть взрыватель. Где твой?

Минёры — наблюдательный народ. Профессия обязывает.

— Это, Жорж, от чтения. — Я выдержал его взгляд спокойно. — Начитался про чужие войны. Знаешь, как кончали

все, кто говорил «не посмеют»? Одинаково кончали. Скучно.

— М-да. — Он пожевал губами. — Ну, на отряде твоё чтение придётся кстати. Только имей в виду: там народ простой, там за «стратега» могут и в глаза засмеять. Им расчёты на бумаге без надобности. Им надо, чтоб человек на мостике стоял и не блевал.

— Постараюсь совместить.

Лутонин дал. Поглядел на меня поверх бумаги своим быстрым взглядом, хмыкнул, вывел резолюцию и сказал единственное:

— На миноносцах, Андрей Николаевич, учатся одному из двух: службе или смирению. Кому чего недостаёт. Любопытно мне, чего недостаёт вам.

Сборы мои на «Полтаве» наблюдали двое, и оба — со значением. Михеев извлёк откуда-то из недр рундука ватник — застиранный, чужой, точно по мне, — и, подавая, изрёк: «На миноносках, вашбродь, в шинельке продует-с насквозь. Проверено-с». Откуда у вестового броненосца проверенный миноносный опыт, я спрашивать не стал: агентурная сеть работала, остальное неважно. А Лобов, встретившись со мной у трапа, обронил, глядя мимо: «Огарёва тама спросите, вашбродь. Огарёв — он из настоящих». Рекомендация нижней палубы стоила в моих глазах любого аттестата.

Так в начале декабря я впервые ступил на палубу «Сторожевого» — двести пятьдесят тонн водоизмещения, двадцать

шесть узлов по паспорту и двадцать два по совести, два минных аппарата, семидесятипятимиллиметровка над рубкой да три сорокасесимиллиметровки, и команда в полсотни душ, прокопчённых до общего серого цвета.

После броненосца это было всё равно что с линкора пере-сесть на катер: миноносец не имел ни брони, ни простора, ни покоя. Внутри он весь был машина с узкими щелями для людей; пахло горячим маслом, углём и мокрым сукном, и всё это дрожало — мелко, постоянно, даже у стенки. Он не имел ничего, что на эскадре считалось кораблём. Он имел ход и наглость. Из этих двух статей здесь состояло всё.

Командовал «Сторожевым» лейтенант Огарёв — жилистый, чёрный от ветра, с голосом, сорванным до хрипа ещё, кажется, в гардемаринах. Штатный командир миноносца с осени лежал в госпитале с тифом, и Огарёв сидел на корабле временно исполняющим — положение самое собачье из всех, какие есть на флоте: спрос командирский, власть половинная, и каждый разбор учений грозит стать последним. Меня он принял без восторга. Прикомандированный с броненосца, белая кость, на готовое — первые два часа он со мной разговаривал междометиями.

— Стоять тут. Держаться вот. Не мешать.

Я стоял тут, держался вот и не мешал. Смотрел.

* * *

Вышли затемно, в паре с «Расторопным», в суточный практический выход к Дальнему — с учебной атакой на об-

ратном пути.

Море встретило за Тигровым хвостом — сразу, без предисловий. Зыбь была некрупная, но миноносцу хватало: «Сторожевой» врезался в неё скулой, вставал, ронял себя в провал, и брызги долетали до мостика очередями, замерзая на поручнях бугристой коркой. Внизу, в командирской каюте размером со шкаф, ходуном ходило всё, что не было привинчено. Привинчено было почти всё.

Михеевский ватник оправдал себя в первые же полчаса. Шинель поверх него стояла коробом, обмерзала и грела ровно настолько, чтобы человек помнил, что он жив. Сигнальщик рядом со мной — мальчишка лет девятнадцати, с белыми от ветра ресницами — стоял в одном бушлате и, кажется, холода не замечал вовсе: глаза его жили горизонтом, и больше в нём в эти часы не жило ничего. Хороший сигнальщик. Я спросил фамилию — Жилин — и записал. Страница своих людей потихоньку перерастала в тетрадь.

До Дальнего шли скучно, и слава богу: в море скука — рабочее состояние. На рейде Дальнего считали думы: два германца, англичанин, японский угольщик под выгрузкой — здоровенный, новый. Я смотрел на него в бинокль дольше, чем требовала служба. Уголь сюда, в Дальний и на дорогу, шёл японский, с Кюсю, совершенно законно: мы покупали уголь у будущего противника и этой самой выручкой он оплачивал свою судостроительную программу. Об этой арифметике я в записке Лутонину писать не стал: есть вы-

кладки, которых лейтенанту не простят даже на бумаге.

Вахту я принял в восемь. Огарёв остался на мостике — проверять меня, это было нормально и правильно, я бы тоже остался. Час он молчал. Потом начал ронять слова — по одному, как гайки.

— Створ видите?

— Вижу.

— Курс?

— Семьдесят два. До поворота одиннадцать минут, если зыбь не съест.

— Съест полузла, — сказал он и снова замолчал, но уже иначе.

К полудню я знал «Сторожевой» руками: где у него стоит машинный телеграф, туго ходящий на «полный назад», где гнётся под ногой лист настила, как кренится он на циркуляции — глубоко, до воды бортом, с азартом дурного жеребца. Кое-что руки знали и без меня: маринская память тела держала качку грамотно, в коленях. А кое-чему я учился заново и честно: паровая машина — не турбина и не дизель, у неё свой нрав, своя задержка на команду, и кочегары внизу — не кнопка, а шестеро живых людей с лопатами.

К кочегарам я спустился в обед — на минуту, по делу, спросить про пар, — и застрял на четверть часа. Внизу был ад в миниатюре: жар, лязг, угольная пыль столбом в свете единственной лампы, и в этом аду шестеро, голые по пояс, кидали уголь с той экономной, точной злостью, с какой ра-

ботають люди, знаючі ціну кожній лопаті. Старший, разглядев погони, заорал сквозь лязг: «Пар держим, вашбродь! На полном — не уроним!» — и в голосе его была гордость мастерового, который знает свою цену. Я кивнул и полез наверх, унося под ватником простую мысль: вот эти шестеро в январе будут держать пар под торпедами. Чтоб они его держали не зря, наверху кто-то должен успеть подумать. Желательно — до января.

Обедали на мостике, не сходя: миска щей, придерживаемая локтем, чай в жестяной кружке, обжигающий с одного боку и стылый с другого. Огарёв ел стоя, не отрывая глаз от горизонта, и я делал так же, и после этого обеда он стал говорить мне не «вы, прикомандированный», а просто «вы».

На обратном пути была назначена атака: «Расторопный» изображал неприятельский дозор, мы выходили на него в сумерках с торпедой Уайтхеда — болванкой с учебным зарядным отделением вместо боевого.

Огарёв собирался заходить, как заходили все и всегда: от берега, на фоне темнеющих сопок, малым ходом до дистанции и рывок. Так писало наставление, так учили в Кронштадте, и так в моих книгах японские дозоры за два года войны выучились ловить наши миноносцы безошибочно — потому что от берега, на фоне сопок, ждали все и всегда. Я смотрел на закат — он дотлевал на весте грязной жёлтой полосой — и молчал ровно до той минуты, пока молчать стало дороже.

— Командир. Разрешите соображение.

— Ну.

— Заходить от берега — он нас ждёт от берега. А зайти с веста, со светлой стороны.

Огарёв повернулся ко мне всем корпусом.

— Со светлой? Нас же на закате видно будет, как мух на стекле.

— Корпус — да. Пять минут. А потом полоса догорит, и у него в глазах останется пятно от неё, а мы — уже в темноте, и идём из этого пятна. Сигнальщик смотрит туда, где светло, в последнюю очередь: ему там глаза режет. Проверим?

— Это вас на броненосце такому учат? — спросил Огарёв.

— На броненосце учат ждать. Думать приходится самому.

Он посмотрел на закат. На «Расторопного», уже растворяющегося в восточной мгле. Снова на закат. Что-то он там считал, и считал честно.

— А, чёрт с вами, — решил он. — Лево руля. Курс двести шестьдесят. Оба — средний.

— Имейте только в виду, — добавил он, уже скомандовав поворот. — Промажем — в разборе так и напишу: уклонение от плана учения по настоянию прикомандированного. Мне терять нечего, мне и так который год «условно успешно» пишут. А вам, я слышал, есть.

— Пишите, — сказал я.

Ставка была принята. Хорошая, кстати, ставка. Жалоба с берега плюс «самовольство на учениях» — этого аккурат

хватило бы, чтобы похоронить заодно и записку, и автора, и засунуть всё дело под сукно так глубоко, что его и в феврале бы не сыскали.

Ждать пришлось долго — в этом и была вся соль: не лезть, пока полоса не догорит. Мы болтались на весте малым ходом, и я кожей чувствовал, как Огарёву неймётся. Он не торопил. Только курил, пряча папиросу в кулак, и поглядывал на запад, где жёлтая полоса всё не умирала.

У аппарата тем временем колдовал минный кондуктор — пожилой, основательный, из тех, кто к mine Уайтхеда обращается на «вы». Болванку — учебное зарядное отделение вместо боевого — он выровнял в трубе, проверил курок, доложил вполголоса: «Аппарат к выстрелу изготовлен» — и встал рядом, сложив руки. Для него это были не учения. Для него учений не бывало вовсе.

Вышло — лучше, чем я обещал. Мы довернули из умершей полосы в полной темноте, и «Расторопный» прозевал нас до шести кабельтовых: на его мостике нас увидели тогда, когда болванка уже шла к нему под кормой. По миноносным меркам — расстрел в упор.

С «Расторопного» отсемафорили нечто такое, что сигнальщик, читая, прятал ухмылку в воротник. Огарёв ухмылку не прятал. Огарёв стоял на мостике, держась за обмёрзший поручень голый рукой, и улыбался впервые за сутки.

— Из пятна, значит, — сказал он. — Запишем.

Запишет он — я узнал это позже — буквально: в вах-

тенный журнал, со временем, пеленгами и дистанцией обнаружения. Документ. Чтобы на разборе, когда ему поставят на вид уклонение от плана, рядом с «уклонением» лежало шесть кабельтовых против обычных пятнадцати. Воевать с бумагой бумагой же — этому миноносному искусству мне предстояло ещё учиться. Тут, на отряде, где каждый разбор мог стоить врио командирства, оно было развито до тонкости.

* * *

Заряд налетел через час, на полном ходу, когда мы догнали свою пару, — стена мокрого снега, в которой умерло всё: горизонт, «Расторопный», собственный бак.

И в эту стену, на двадцати узлах, «Сторожевой» вдруг покотился влево.

Сам. Без команды.

— Руль! — рявкнул Огарёв рулевому.

— Не слушает!.. — Рулевой крутил штурвал — штурвал шёл легко, страшно легко, как у игрушки. — Привод, вашбродь! Заклинило где-то!

Слева, в снегу, — «Расторопный». Невидимый. На сходящемся курсе. Циркуляция несла нас туда.

Свисток Огарёва. Аварийную — в румпельное.

Я у телеграфа. Оказался раньше, чем подумал.

— Командир! Машинами развести?

— Правая — полный! Левая — стоп! — Огарёв уже висел на ручках рядом. — Сирену! Дай голос, оглуши!

Сирена заревела в снег. Раз. Другой. Третий. Я иду влево — шарахайся.

Миноносец дрожал, растянутый машинами враздрай. Дуга выпрямлялась. Нехотя. По вершку.

Из румпельного орали в трубу: штуртрос заело в желобе. Лёд намёрз. Рубят.

Снег лупил по стёклам. Секунды капали.

Слева отозвалась чужая сирена. Ближе, чем хотелось. Ещё раз — уже левее. Левее! По смещению звука стало ясно: расходимся.

Расходимся.

Штурвал ожил под руками рулевого — румпельное дорубилось до желоба. Потом заряд кончился — вдруг, будто занавес сдёрнули, — и в сером просвете, в трёх кабельтовых, обнаружился «Расторопный». Целый. Сердитый. Семафорящий.

На этот раз сигнальщик ухмылку не прятал. Не до того было: руки тряслись. У меня, признаться, тоже — и я опять, как тогда на барже, убрал их за спину.

— Румпельное — доложить о повреждении, — сказал Огарёв. Голос у него был ровный и от этого страшнее крика. — Боцману — желоба штуртроса от льда обколачивать каждую вахту. Каждую, понял? А вас, Андрей Николаевич... — он повернулся ко мне, и я приготовился к разносу за самовольство у телеграфа, — вас прошу отстоять со мной ещё и собачью вахту. Под такое дело у меня где-то была фляга.

Разнос, стало быть, отменялся. На миноносцах вообще, как я начинал понимать, действовала своя система мер и весов: здесь не спрашивали, по чину ли ты схватился за телеграф, — здесь спрашивали, вовремя ли.

* * *

Флягу мы прикончили на двоих к четырём утра, на мостике, под звёздами, которые наконец прорвало сквозь хмарь, — по глотку на полчаса, как заведено на ходовой вахте: не для веселья, для тепла.

Огарёв оттаивал медленно, послойно — как оттаивает человек, который третий год ходит на миноносцах и привык, что броненосная публика смотрит на его жестянку с жалостью. Сперва он рассказывал о «Сторожевом» — как принимал его от Невского завода нынешней осенью, какие у него котлы и какой был на сдаче боцман, пропивший душу, но вязавший узлы, каких теперь не вяжут. Потом — о себе, скупом: холост, из казанских, на Дальнем Востоке шестой год, в Кронштадт не тянет. Потом разговор повернул туда, куда в эту зиму поворачивали все разговоры на всех мостиках.

— Вы поняли, что сегодня было? — спросил он в четвёртом часу. — Не с приводом. С атакой.

— Понял.

— Ни черта вы не поняли. — Он хрипло усмехнулся. — Третий год я хожу в эти учебные атаки. Третий год меня видят за пятнадцать кабельтовых и пишут в разборе: «атака условно успешна». Условно! А сегодня — шесть. Шесть, Ма-

ринин! Если б у меня в аппарате была не болванка, «Расторопный» бы сейчас стоял на дне у Дальнего. И знаете, что я с этим знанием сделаю? Ничего. Потому что в наставлении написано: заход от берега. И на разборе мне поставят на вид: самовольное уклонение от плана учения. Понимаете вы это своей броненосной головой?

— Понимаю лучше, чем вам кажется. У меня вся записка о таком — под сукном у командира.

— Вон что. — Он помолчал. — Так это про вас севастопольские рассказывали... стратег с «Полтавы».

— Уже рассказывают?

— Гарнизон маленький, зима длинная. — Огарёв пожал плечами. — Не обижайтесь. У нас на отряде «стратег» — это даже похвала. Это у вас в кают-компаниях оно ругательное.

Он отвернулся, поглядел на восток, где над морем уже намечалась серая полоса рассвета, и сказал — другим голосом, ниже:

— А слышали, что говорят? Будто Старка сменят. И будто прочат к нам Макарова. Степана Осиповича.

Я промолчал. Это «прочат» сбудется — в феврале, на шестой день войны, когда всё уже будет гореть.

— Вот при ком бы послужить. — Огарёв сказал это просто, без мечтательности, как говорят о деле. — Он же наш, миноносный, по сути-то. «Рассуждения по вопросам морской тактики» — читали? Для него миноносец — оружие, а не извозчик при эскадре. При нём бы весь этот отряд по-

другому задышал.

— Задышит, — сказал я. И прикусил. Лишнее слово, сказанное в правильную минуту, — самое опасное из всех.

Огарёв покосился на меня, но в темноте лица не прочтёшь, а переспрашивать было не в его привычках. Он просто достал флягу и протянул мне первому. — Слушайте, а переводитесь к нам. Серьёзно говорю. На отряде некомплект, командиры волком воют. Тут, конечно, не броненосец — ни буфета, ни пианино, и потонем мы все в первый же год войны, если она будет... Зато тонуть будем не у стенки, а на ходу. По нынешним временам — почти карьера.

Я взял флягу и отпил свой глоток. Коньяк был дрянной, дальненский, и на ледяном ветру он был лучшим коньяком в моей жизни — что в той, что в этой.

Тонуть на ходу. Если бы ты знал, лейтенант Огарёв, до чего точно ты сейчас попал — и про первый год, и про всё остальное. В моих книгах твой отряд горел и тонул всю кампанию, и был при этом единственным оружием, которое могло кусаться каждую ночь. Его просто никто не умел собрать в кулак. Почти никто. Один умел — но ему оставалось жить до тридцать первого марта.

— Подумаю, — сказал я.

— Думайте. — Огарёв спрятал флягу. — Только недолго. Чует моё сердце, времени на подумать нынче дают мало.

В одном Карцев ошибся. На мостике меня не тошнило. Меня тошнило от календаря.

В гавань входили утром, в полную воду. Узкое горло, единственное на всю эскадру; броненосцы ходят тут дважды в сутки, по милости луны. В моих книгах эту бутылочную пробку поминали на каждой странице; живую она была ещё хуже книг. «Полтава» стояла на своём месте, серая, огромная, неподвижная, и я смотрел на неё с миноносного мостика новыми глазами: дом, который скоро станет тесен.

У трапа меня ждал Михеев — с лицом, по которому всё было видно раньше слов.

— Вашбродь, вас Сергей Иваныч велели, как прибудете, — сразу к им. Там это... — он понизил голос до трагического шёпота, — бумага на вас пришла-с. Из штаба. Серьёзная-с.

Вот и счёт за шум. Быстро ходят жалобы, когда им помогают.

Я одёрнул шинель и пошёл к трапу. Объяснительные я писать умел — двадцать лет практики, в обеих жизнях. Занимало меня другое: жалоба японского подданного дошла из консульства в Чифу до штаба наместника и обратно до «Полтавы» за неделю с небольшим. По здешним канцелярским меркам — не скорость, а курьерский поезд. Кто-то этой бумаге помогал. Кто-то в штабе очень хотел, чтобы у лейтенанта Маринина появилось дело.

Что ж. Познакомимся.

Глава 5

Бумагу из штаба мне выдал Лутонин — утром, при себе, и пока я ломал печать, смотрел не на конверт, а на мои руки. Первые строки я прочёл с холодком: «по донесению о самовольных действиях...» — донесение, значит, уже существовало отдельно от жалобы, и писал его кто-то свой, русский, по-русски. Дальше выдохнул: запрос объяснения «по жалобе японскоподданного Сакаи, фотографа, на неправомерные действия флотского офицера». Объяснение — не следствие и не суд. Пока.

Страшного в бумаге было одно: скорость. И вот это слово — «донесение».

Кают-компания, узнав, разделилась так, как предсказывал Лутонин. Половина жала мне руку — Рошин так и заявил во всеуслышание, что готов был бы доплатить за право присутствовать, — а половина поджимала губы: с консульскими подданными связываться — это, господа, до международных осложнений недалеко, нам же служить тут. Обе половины я выслушал с одинаковой благодарностью. Карта корабля дополнялась сама, без моих усилий.

Объяснительную я написал в один присест, на полутора листах, и она вышла скучной, как накладная на сурик. Этого я и добивался.

Никаких «считаю долгом доложить». Никакой агентуры, никаких батарей в кадре. Сухая хроника: проходя по дороге, обнаружил частное лицо, производившее фотографическую съёмку в крепостном районе в направлении артиллерийской позиции; патруля поблизости не оказалось — остановил проходивший; потребовал предъявить разрешение; ввиду отсутствия такового пластинки изъял под расписку и передал чинам жандармского надзора. О соответствии своих действий закону судить не берусь, о соответствии их присяге — готов ответить перед любым судом. Подпись.

Лутонин прочёл это стоя, у себя в каюте, дважды. На втором разе уголок его рта дрогнул.

— «Перед любым судом» — это вы зря, — сказал он. — Это уже литература. Уберите. Остальное оставьте как есть: чем скучнее, тем целее будете. — Он отдал мне лист и добавил без перехода: — Командир бумагу подпишет и отправит с сопроводительной. В сопроводительной будет сказано, что взысканий на вас нет, а службу вы несёте отлично. Это всё, что мы можем. Дальше — как в штабе решат.

— Благодарю, Сергей Иванович.

— Не за что пока.

К Успенскому я попал на подпись на следующий день и приготовился к выволочке: «без разговоров на берегу» было его условием, и условие я нарушил с шумом и свидетелями. Выволочки не случилось. Командир прочёл объяснение, прочёл сопроводительную, подписал обе и сказал, глядя не

на меня, а в иллюминатор:

— В девяносто шестом, в Чифу, у меня с борта сбежал писарь с шифровальной книгой. Скандал был — не вашему чета. Так вот, Андрей Николаевич: за шум по делу не наказывают, наказывают за шум попусту. Какой у вас — рассудят без нас. Ступайте. — И когда я был уже у двери: — Пластинки-то посмотрели, прежде чем отдать?

— Жандармам виднее, Иван Петрович.

— Жаль, — сказал Успенский непонятно и отпустил меня.

Через два дня Лутонин сам пришёл на мою ночную тревогу — встал с часами у шестидюймовой башни, молча, в наброшенной шинели, и прислуга, увидев старшего офицера, не споткнулась, а собралась: сказался месяц. Снизу пробежали тени, лязгнул замок, наводчик доложил «готово» — и я ещё до лутонинской отмашки знал, что время хорошее.

— Две минуты сорок секунд от сигнала, — сказал Лутонин, пряча часы. — Я, извольте видеть, помню, сколько было в октябре: восемь с лишним. — Он помолчал. — С понедельника так будут играть все вахты, не одна ваша. Расписание я подписал. Возражения?

— Никак нет. Одна просьба: замеры вести письменно, по каждой вахте, и вывешивать в батарейной палубе. Пусть видят друг друга.

— Это зачем же?

— Затем, что русский человек, Сергей Иванович, может

неделями не делать для начальства то, что сделает за сутки назло соседней вахте.

Лутонин смерил меня взглядом, и я уже привычно выдержал: смотри, смотри. Странный лейтенант, да. Зато удобный.

— Вывешивайте, — сказал он. — И вот ещё что, Андрей Николаевич. На корабле вас стало много. Это не упрёк, это наблюдение. Люди к такому относятся двояко: половина тянется, половина точит зуб. Вторую половину вы знаете в лицо?

— Узнаю по мере поступления.

— Поступление будет, — пообещал Лутонин и отпустил меня.

Листок с замерами я вывесил в батарейной палубе в тот же понедельник, и расчёт оказался верен с точностью до водевиля. Уже в среду вторая вахта, ходившая у меня в отстающих, устроила собственное тайное учение в обед, чтобы «не позориться перед калашниковскими» — у первой вахты комендором был Калашников, мужик голосистый и злой на язык. К субботе лучшее время на листке принадлежало им, и Калашников ходил мрачный. Лобов наблюдал за этой войной с удовольствием антрепренёра и подбрасывал дров точно отмеренными порциями: одному «а вторая-то жмёт», другому «слыхал, первые отыгратья сговариваются». Без цены не обошлось и тут: подносчик второй вахты, погнавшись за секундами по обледелелому трапу, расшиб руку о комингс, и Лутонин при всех пообещал прикрыть гонку после первого

же «рекордсмена» в лазарете. Гонка притихла — на сутки. Потом пошла снова, только сапоги стали посыпать песком. Тревоги, месяц считавшиеся барской блажью, превратились в спорт. О том, что призом в этом спорте назначены их собственные жизни, знал на корабле один человек, и он помалкивал.

* * *

Вечером того же дня я наконец сделал то, что откладывал месяц. Дописал письмо в Кронштадт — то самое, что начато было ещё прежней рукой и брошено на второй строке.

Повод не оставлял выбора: с почтой пришло письмо оттуда. Я узнал руку раньше, чем понял, что узнаю её, — по конвертам в нижнем ящике, перевязанным тесьмой: мать. Четыре страницы мелким старушечьим почерком: что зима в Кронштадте сырая, что Машенька — сестра, стало быть, — хорошо сдала рождественские испытания, что о делах на Востоке пишут тревожное и пусть Андрюша телеграфирует хоть два слова, если что; что молится. Я прочёл четыре страницы дважды. Андрюша, которому это писалось, лежал где-то на дне меня — или нигде не лежал, я до сих пор не знал, как это устроено, — и ответить ей мог только я.

Черновик прежнего Маринина так и лежал в конторке — «Дорогая маменька», дата октябрьская, дальше пусто. Я сидел над этим листом дольше, чем над всей запиской о японском флоте. Записка была по моей специальности. А тут — чужая мать, которой я не видел никогда, которая вырастила

не меня, и которой нельзя ни солгать так, чтобы это не было ложью, ни сказать правду, потому что правда в моём положении — это палата в жёлтом доме.

В конце концов я писал просто. Что служба идёт хорошо и начальство довольно — правда. Что познакомился ближе с минным офицером и много хожу в море — правда. О тревожных слухах — чтобы не верила газетам сверх меры, а если спросят на пристани, отчего сын не просится с Востока, отвечала бы с гордостью: сын на своём месте. Это была правда с двойным дном, и пусть оно раскроется ей как можно позже. Машеньке выслал к испытаниям на книги — нашёл у прежнего Маринина эту привычку, по три рубля в письме, и нарушать не стал. Дальше следовало: переменялся после одного случая на вахте, стал серьёзнее, о чём она, верно, услышит от других, и пусть не тревожится, — правда, вся как есть, до последнего слова. Что люблю и помню — я держал перо.

Потом написал: «Люблю и помню». Человек, чьей рукой я писал, любил и помнил, я знал это по черновикам. Значит, не ложь. Просто подпись под чужим счётом, который теперь мой.

Заклеив конверт, я поймал себя на том, что разглаживаю заклеенный край второй раз. И третий. Без всякой нужды: клей в этой эпохе делали честный. Я положил конверт на конторку, не дожидаясь четвёртого раза. О том, что где-то в две тысячи двадцать пятом, возможно, осталась лежать на

чьём-то столе незакрытая ведомость с моей фамилией, думать было всё ещё не по карману. Я записал в книжку, рядом с делами службы: «Маменьке — писать каждые две недели». Дела, занесённые в книжку, у меня исполнялись. На прочие надежды я не полагался.

В дверь стукнул Карцев — как всегда, боком, как всегда, с бумагой.

— Не помешал? Слушай, тут такое дело. — Он сел на койку без приглашения, на правах. — Огарёв подал на тебя запрос. Чин по чину, через отряд: ходатайствует о прикомандировании лейтенанта Маринина к отряду на постоянно, впредь до укомплектования. Начальник отряда не против — у него некомплект воев. Дело за «Полтавой». Успенский тебя не отдаст, имей в виду. Вахтенных начальников у нас самих не густо.

— А если отдаст?

— А если отдаст, — Карцев поправил очки, — то я тебе даже завидовать буду. Там сейчас самое место. Начальник отряда, говорят, за огарёвскую атаку из темноты на разборе не разнос устроил, а заставил остальных командиров схему перерисовать себе в тетради. Так что твоё «пятно» уже пошло гулять по отряду без тебя. Поздравляю: ты теперь школа.

— Школа без жалованья.

— Все школы такие. — Он покрутил в пальцах карандаш. — Кстати, имей в виду: я подсчитал твои выходы. Четыре за

месяц. У штабных, которые тобой интересуются, это будет называться «ищет случая отличиться».

— Интересуются?

— Маринин. — Он поглядел на меня поверх очков, как на гальванический элемент с сомнительной полярностью. — Тобой с ноября интересуется половина гарнизона. В Артуре за зиму случается меньше событий, чем ты устроил за месяц. Сходи на святках в Собрание, послушай сам. Полезно. Там ёлка, весь гарнизон будет. Только мундир надень парадный.

* * *

На святках Морское собрание стояло убранное хвоей и флагами; в большом зале поставили ёлку под потолок, и пахло в этом зале сразу всем — смолой, духами, сигарами, пуншем и мокрым сукном шинелей из передней. Народу — не протолкнуться: флот, гарнизон, дамы, штатские из управления порта, инженеры с дороги. В малой гостиной играли в винт, из буфетной несли подносы, у колонны спорили о новой певице, на хорах настраивался оркестр. Город праздновал уверенно, широко, как празднуют люди, у которых впереди длинная спокойная зима.

Я шёл сквозь этот зал, раскланиваясь направо и налево, и ловил на себе взгляды. Взгляды были разные: любопытные, насмешливые, оценивающие; две дамы средних лет, не понижая голоса, обсуждали за моей спиной «того самого, который с японцем», и по тону невозможно было понять, герой я в их редакции или скандалист. Скорее всего, и то и дру-

гое: гарнизонная слава — продукт нерафинированный. Это и была разведка боем: месяц назад меня тут не знал никто.

У буфета меня перехватил севастопольский гость — тот самый грузный лейтенант с пенсне, любитель читать вслух телеграммы. Теперь он телеграмм не читал. Теперь он, понизив голос, спрашивал.

— Андрей Николаевич, голубчик, а скажите-ка... вот вы тогда считали — про зиму. Я, признаться, смеялся. А у нас на «Севастополе» старший офицер на той неделе велел проверить сетевое ограждение. Так, между делом велел, но велел же. Это что же выходит — и у вас наверху читали?

— Выходит, у вас старший офицер службу знает.

— Нет, вы не виляйте! — Пенсне блеснуло почти умоляюще. — Мне для понимания: готовиться или как?

Месяц назад он смеялся первым. Теперь спрашивал «готовиться или как» — шёпотом, у буфета, чтобы не услышала жена.

— Готовиться, — сказал я. — Это в любом случае дёшево. Сети, расчёты, ночные вахты всерьёз — всё это стоит казне рубль, а команде час сна. А не пригодится — спишете на чудачества полтавского паникёра.

— Что вы, я никогда... — он смешался.

— Бросьте, — сказал я. — Я знаю, как меня зовут в штабе. Кстати, не подскажите, кто именно зовёт? Любопытно же, у кого слог хороший.

Лейтенант замялся. Снял пенсне, подышал на стёкла, на-

дел. Я ждал и не помогал ему: в такие минуты человеку нельзя помогать, он должен сам решить, чей он. Наконец он оглянулся — коротко, по-настоящему — и понизил голос ещё на тон:

— Ставров. Капитан второго ранга, из морского штаба заместника. Он-с про вас и бумагу из Чифу... того... сопровождал. Вы с ним, часом, не в контрах? Потому что он о вас осведомлён удивительно подробно для человека, который с вами незнаком. — Пенсне снялось и тут же наделось обратно. — И вот что, голубчик: я вам этой фамилии не называл. У меня семья-с.

Ставров. Я уложил фамилию туда, где у меня лежали мины, — на отдельную страницу, к которой возвращаются перед тем, как тралить.

Морской штаб заместника. Место, где делаются бумаги и репутации. Человек, «удивительно подробно осведомлённый» о незнакомом лейтенанте, собирает дело — папку с номером, с описью, с прошитыми листами. Зачем я ему сдался, сам по себе или как ступенька к кому-то повыше, — вот вопрос, на который у меня ответа не было.

— Незнаком, — сказал я. — Пока.

В зале тем временем гасили люстры — зажигали ёлку. Свечи занимались одна от другой, зал ахал и аплодировал, дамы подталкивали детей вперёд, к свету. Оркестр на хорах взял первые такты, и пары пошли. Мимо меня прошла в полонезе чета инженеров с дороги, прошёл Карцев — он, ока-

зывается, недурно танцевал, кто бы мог подумать про человека с кислотными пальцами; прошла, считая шаги одними губами, гимназистка в первом взрослом платье. Зал был тёплым, золотой, живой.

Я стоял в задних рядах и смотрел на это — на свечи, на детей, на золочёные цепи по хвое, — и зал вдруг показал мне себя другим. Этим же — через год. Койки рядами. И запах не смолы, а карболки.

Зал вернулся, а запах остался: карболка держалась в носу до самой передней, сквозь хвою и пунш. Тридцать дней этому залу стоять нарядным.

Не «тридцать дней осталось». Тридцать — на работу. Разница между приговором и нормативом — только в том, кто считает.

Домой — я поймал себя на этом «домой» про броненосец и не стал поправлять — я собрался раньше разъезда. В передней, пока вестовой искал мою шинель, со мной поравнялся пожилой полковник-артиллерист с сухопутным лицом и погонями крепостной артиллерии.

— лейтенант Маринин? — Он не представился, и по тому, как он этого не сделал, было ясно: человек привык, что его знают. — Это ведь вы у Электрического утёса фотографа... того. Моя батарея. Это мои люди вам три недели про него писали. — Он коротко, по-сухопутному, наклонил голову. — Благодарю. Хоть кто-то на этом курорте читает, что ему пишут.

И ушёл в темноту, к экипажам, оставив меня с этим «курортом» в руках. Крепостные артиллеристы. Ещё одно ведомство, где умеют злиться на тишину.

* * *

На корабль я вернулся с последним катером, продрогший и трезвый, хотя в Собрании наливали щедро.

Михеев, отпиравший каюту, доложил вечерние новости своим обычным порядком — вперемешку, по убыванию важности для нижней палубы: завтра баня; кок с «Севастополя» божится, что к Новому году дадут гуся; боцман Лобов выменял у дальненских лесин на рамы для зимних щитов, и теперь у него с ревизором война; а ещё, говорят, на телеграфе нынче очередь была из штатских — японские торговцы депеши слали, много, всю неделю шлют.

Я снял парадный мундир, повесил его ровно и переспросил:

— Что за депеши, Михеев?

— А кто их знает-с. Брат у меня двоюродный при телеграфной конторе сторожем. Говорит: ихние, торговые, всё шлют и шлют. Должно, к праздникам торговлю сводят-с.

Сводят, подумал я. Сводят — это точное слово. Подчищают дела, закрывают лавки исподволь, переводят деньги. Агентура и купцы всегда снимаются первыми — за месяц-полтора, по-тихому, чтобы не обвалить заодно и чужое спокойствие, на котором так удобно работалось. В моих книгах исход японских резидентов из Артура описывался зад-

ним числом, со вздохом: вот же, мол, был знак, и какой ясный. Здесь это не было знаком из книги. Здесь это была очередь у телеграфной конторы, которую видел двоюродный брат моего вестового. Векшину про телеграммы я уже говорил. Теперь стоило сказать ещё раз — с цифрами от сторожа.

А ещё с вечерней почтой пришла записка от Карцева, карандашом, в три строки: огарёвский запрос вернулся из штаба отряда с резолюцией «воздержаться впредь до окончания переписки по известному делу». Жалоба фотографа стоила мне миноносцев. Не навсегда — переписка кончится. Но «не навсегда» в моём календаре было самым дорогим из всех слов.

Я достал записную книжку и открыл разряд «сделано». Перечитал — медленно, как читают ведомость перед ревизией.

Тревоги по всем вахтам «Полтавы», подписано старшим офицером. Расчёты Рощина — пять с половиной минут, и сам Рощин, который теперь сверлит своих комендоров без моих напоминаний. Лобов и его шестидюймовки. Огарёвский запрос о переводе — повисший, но поданный. Векшин с его сорока адресами. Сетевое заграждение на «Севастополе» — чужими руками, самыми надёжными из всех. Полковник с Электрического утёса, которому впервые за три недели ответили делом. Атака «из пятна», которую начальник миноносного отряда велел перерисовать себе в тетради. Записка — похороненная, но прочитанная, и Лутонин, который

после неё смотрит на мои чудачества как на службу.

Негусто против шести броненосцев Того. Если мерить эскадрами — почти ничего: ни один корабль не стал быстрее, ни одна пушка не прибавила в дальности, ни одного снаряда не прибыло в погребах. Но войны проигрываются не пушками — войны проигрываются спящими. А спящих вокруг меня становилось меньше с каждой неделей: тут вахта, там плутонг, тут старший офицер, там полковник на батарее. Месяц назад на этой странице не было ничего, кроме даты.

Оставался Ставров. И вот со Ставровым не сходилось ничего. Я перебирал это, как перебирают заевший замок: «донесение о самовольных действиях», написанное раньше жалобы. Жалоба, долетевшая из Чифу со скоростью фельдъегеря. Резолюция «воздержаться», аккуратно отрезавшая меня от миноносцев. Каждая бумага по отдельности была законной, как церковный календарь, — а вместе они складывались в работу, методичную и недешёвую, и я не понимал главного: зачем. Лейтенантов не разрабатывают из любви к искусству. Меня к чему-то готовили — или от чего-то отодвигали, — и у меня не было ни одной зацепки, к чему именно. Это была первая строка в моей книжке, которую я подчеркнул дважды и оставил без плана.

Я завёл часы — вполсилы, как обещал мастеру, — и положил их на стол циферблатом вверх.

Считаем, лейтенант.

Тридцать дней. Раскладка простая. Объяснительная ушла

— ждать. Телеграммы купцов — к Векшину. Завтра же, запиской. Вахты пусть гоняют тревоги. Две сорок — это не предел. Предел — две ровно.

Дальше. Перевод завис — дожимать, как кончится переписка. Письмо Огарёву — чтоб не остыл. Сети на «Полтаве» — через Лутонина, после праздников. Карцеву — подкинуть мысль про катерные тралы. Не самому. Через спор. Он умный, он додумает и сочтёт своей.

Что ещё. Ставров. Подчёркнуто дважды, плана нет. Пусть пока висит.

Письмо ушло. Гуся обещали. Жить можно.

Война шла к Артуру с востока, по расписанию, которое из всех живущих знал я один. Я больше не считал дни до неё.

Я считал, что успею.

Глава 6

Праздники в Артуре отгуляли широко, с гусем, с колядками на нижней палубе, с визитами по начальству, — и до Крещения город прожил в том особом состоянии духа, когда тревожные телеграммы читаются как сводки о чужой погоде. Гусь не обманул, и Михеев ходил именинником, будто добыл его лично. Я отстоял свои вахты, съездил с поздравлениями куда положено, выпил положенное и считал дни. Дни шли крупно, как лёд по реке. В новогоднюю ночь кают-компания пила шампанское, и Роцин, разливая, предпринял манёвр, который я оценил по достоинству. — А что, Андрюша, — начал он издалека, — пари наше... оно ведь как бы шуточное было, по-приятельски? — Угу, — сказал я. — По-приятельски. Ящик и неделя. — Нет, я к тому, что условия-то дикие. Ну какая война до конца января? Месяц остался. Даже японцы так быстро не поворачиваются. — Глеб. Ты отыграть хочешь или поторговаться? — Я хочу, — Роцин понизил голос и перестал улыбаться, — чтобы ты оказался трепачом. Первый раз в жизни хочу, чтобы человек, с которым я пью, оказался трепачом. Понимаешь ты это? — Понимаю, — сказал я. И мы выпили молча, не чокаясь. Для новогодней ночи это было, пожалуй, чересчур, но никто за столом не заметил. Сразу после Крещения пришли две бумаги, и обе — хорошие. Первую привёз с берега писарь: переписка «по из-

вестному делу» закрыта. Жалоба японскоподданного Сакаи оставлена без последствий, лейтенанту Маринину — поставить на вид недостаточную осмотрительность при сношениях с иностранными подданными. «На вид» — это была точка. Дело умерло. Почему оно умерло, я узнал в тот же вечер из второй бумаги, узкого конверта без штампа, который Михеев подал с особенным выражением лица. Внутри была записка в три строки, карандашом, знакомым уже почерком с прокуренным наклоном: «Пластинки оказались занимательными. Долг за мной. В феврале — заходите непременно. В.» Я сжёг записку в пепельнице и подумал, что Векшин — человек с юмором: «в феврале» он вернул мне моё же. Дальномерный пост на стекле, надо полагать, перевесил все консульские печали. Когда жандармерия предъявляет штабу такую картинку, желающих защищать господина Сакаи становится меньше. Сам Сакаи, по слухам с берега, отбыл в Чифу с первым пароходом — снимать закаты в местах поспокойнее. Из всей этой истории я вынес урок, который стоил дороже «постановки на вид»: в здешней машине можно выигрывать, если твоя бумага приходит в нужную папку раньше чужой. Проиграл я только там, где бумаги шли мимо меня. Стало быть, и воевать со Ставровым следовало скоростью документооборота. Смешное поле боя для человека, готовившегося к торпедным атакам, но поле было такое, какое дали. А ещё через день Лутонин вызвал меня и молча показал отношение из морского штаба наместника: «...предписывается предста-

вить описание принятого на эскадренном броненосце Полтава порядка ночных учебных тревог с приложением ведомости результатов». Подпись стояла «за начальника штаба», и чин с фамилией я прочёл дважды: капитан 2 ранга Ставров.— Поздравляю, — сказал Лутонин сухо. — Ваши забавы затребованы наверх. Писать описание будете вы, подавать буду я, а лавры, как заведено, достанутся эскадре. Возражения?— Никак нет. Прошу только об одном: в описании не называть сроков готовности желательными. Назвать достигнутыми. С ведомостью не поспоришь.— Это вы к чему?— К тому, Сергей Иванович, что желательное у нас принято обсуждать, а достигнутое — догонять. Лутонин хмыкнул и забрал бумагу. Так моя ночная самодеятельность, два месяца ходившая в чудачествах, стала официальным «порядком, принятым на эскадренном броненосце Полтава». На эскадре есть только один способ сделать дело законным — сделать его сначала.* * * Ставров приехал на «Полтаву» пятнадцатого, с утренним катером, без предупреждения. Я увидел его с вахты: по трапу поднимался капитан второго ранга — немолодой, лет сорока пяти, плотный без рыхлости, в шинели тонкого сукна, и поднимался он так, как ходят люди, для которых любой трап — продолжение паркета. Перчатки он снял только на палубе, обе сразу, и держал потом в левой руке, как держат стек.— Капитан второго ранга Ставров, — представился он вахтенному, то есть мне, глядя при этом мимо меня, вдоль палубы, как оценщик. — Из штаба намест-

ника. К командиру. Фамилия легла в воздух между нами, и я заметил — он проверил. Коротким взглядом, в четверть секунды: знает ли лейтенант фамилию. Лейтенант фамилию знал, но на лице у лейтенанта в эту четверть секунды не было ничего, кроме служебного рвения. Двадцать лет совещаний всех уровней — хорошая школа лицевых мышц. У командира он просидел час. Потом, как мне передали, смотрел учение — Лутонин, не будь дурак, сыграл ему тревогу левому борту, и борт встал к орудиям за две тридцать пять. Потом гость пожелал видеть «офицера, коим заведён означенный порядок». Пока он сидел у командира, корабль шуршал слухами, как камыш под ветром. Вестовые передавали из салона, что гость «всё пишет-с»; Рощин забежал на вахту сообщить, что «по твою душу, Андрюша, не иначе»; даже Лобов нашёл повод пройти мимо меня дважды и во второй раз уронил в пространство: «Бумажный человек приехал. К чему бы это-с». Я нёс вахту и не суетился. Чему быть, того по трапу не обойдёшь. Разговор вышел в батарейной палубе, у шестидюймовки, при холодном свете из открытого полупорта. Ставров осмотрел орудие, осмотрел меня — тем же оценочным взглядом, не делая между нами большой разницы, — и заговорил негромко, любезно, без чинов:— Похвально, Андрей Николаевич. Весьма. Две с половиной минуты — это, знаете ли, цифра. В штабе обратили внимание.— Рад стараться.— Не сомневаюсь. — Он провёл пальцем по казённику, посмотрел на палец. Палец остался чистым, и это его,

кажется, слегка огорчило. — Однако я ведь к вам не только за этим. Я, видите ли, читал вашу записку. Ту, осеннюю. Командир ваш давал ей ход частным порядком, бумага дошла и до нас. Любопытная бумага. Смелая. — Он поднял на меня глаза, и глаза были незанятые, пустые, как чистые бланки. — Скажите, а вот эти ваши учения, тревоги, сети, о которых вы изволите хлопотать через вторые руки... Это у вас от убеждения или от усердия? Вопрос был с двойным дном и со взведённым курком. — От арифметики, Аркадий Петрович. — Имя-отчество я взял из его же бумаг, и он отметил это коротким движением века. — Убеждения у меня казённые, усердие по чину. А арифметика общая для всех. — Арифметика. — Он улыбнулся одними губами. — Прекрасно. Тогда позвольте и я вам — арифметику. Наместник его императорского величества полагает, что войны не будет. Государь полагает, что войны не будет. Из этого следует, с арифметической, как вы любите, точностью: офицер, который ведёт себя так, будто война будет, полагает себя умнее наместника и государя. Он сделал паузу и посмотрел в полупорт, на серую воду, давая мне время оценить выкладку. — Пока он лейтенант и чудит на своём корабле — это смешно. Когда его чудачества начинают затребовать штабы — это уже не смешно, Андрей Николаевич. Это уже тенденция. — Он аккуратно надел одну перчатку, расправил каждый палец. — Я скажу вам то, чего вам не скажет ваш добрейший Сергей Иванович. Худшее, что может сделать офицер в вашем положе-

нии, — оказаться правым раньше начальства. Неправым — можно. Правым позже — должно. Правым раньше — никогда. — Разрешите вопрос, Аркадий Петрович. — Я дождался его кивка. — А если война всё-таки случится. Что станет с теми, кто был неправ вовремя? Ставров посмотрел на меня с первым за весь разговор подобием живого интереса. — Ничего, — сказал он. — Их повысят. Неправых вовремя всегда повышают: они доказали главное — умение слышать. А вот правых раньше времени... — он чуть качнул перчатками, — правых раньше времени к тому моменту, как их правота откроется, обыкновенно уже нет в списках. Внизу, под полупортом, плеснула о борт волна от прошедшего катера — единственный звук за весь этот разговор, который Ставров не выбирал сам. Он переждал его, как пережидают чужую реплику. Это было сказано всё тем же светским тоном, между делом, и это была первая настоящая фраза за весь визит. Не предупреждение даже. Прейскурант. Он коротко поклонился и пошёл к трапу, натягивая на ходу вторую перчатку. У трапа обернулся: — Описание ваших тревог я читал в черновике. Толково. Я бы на вашем месте вычеркнул слово «ночных» — оно нервирует. Просто «учебных». Честь имею. Катер отвалил. Я стоял у борта и складывал — и впервые за месяц у меня начала складываться рабочая версия. Подпись «за начальника штаба» под отношением о тревогах. Донесение, написанное раньше жалобы. Теперь — личный визит с напутствием. Если положить это в один ряд, выходило: Став-

ров вёл меня по двум папкам сразу. В одной — «дал ход полезному начинанию способного офицера»: если война случится, автор этой папки окажется прозорливцем. В другой — «донесение о самовольных действиях» и всё, что туда ещё ляжет: если войны не будет, автор предъявит, что вовремя одёргивал паникёра. Двойная бухгалтерия, безупречная, как его перчатки. Какая папка пойдёт в дело — решит не он. Он только держит обе наготове. Версия объясняла всё, кроме одного. Зачем он приезжал смотреть мне в глаза. Страховки оформляют заочно. Этот пункт я в книжке так и оставил — подчёркнутым.* * * Восемнадцатого января эскадра начала просыпаться, и просыпание это было слышно ушами и видно глазами отовсюду, от Золотой горы до Тигрового. С утра задымили все. Над гаванью встали столбы, жирные, чёрные, вертикальные в морозном безветрии, и между кораблями и угольными пристанями засновали баржи. В машинных отделениях по всей эскадре проворачивали механизмы; с кормы на корму перекрикивались мегафоны; катера развозили по кораблям отпускных, фельдшеров, бумаги и слухи. Город на берегу заметил перемену по-своему: в лавках, говорил Михеев, с утра подорожали консервы и свечи — торговый люд понимает дым над гаванью без всяких циркуляров. «Полтава» приняла уголь до полного запаса; Лобов гонял погрузку с остервенением хозяина, дорвавшегося наконец до настоящего дела, и грузчики-китайцы сыпались у него по сходням горохом. — Шевелись, шевелись, православные и которые нет!

— гудел он на весь борт. — Засиделись на печи — теперь догоняй! Девятнадцатого подняли сигнал: эскадре начать кампанию. И следом — выход. Выход через артурское горло — это отдельное представление, и я смотрел его из первого ряда. Полная вода держится около двух часов; в одну воду линию не протолкнуть — выходили в две, по одному, с промерами, с руганью на всех мостиках сразу. «Полтава» шла в свой черёд. В самом горле, между Тигровым хвостом и Золотой горой, я с вахты видел оба берега разом так близко, что можно было читать трещины в скале. Корабль в одиннадцать с лишним тысяч тонн полз по этой щели со скоростью пешехода, и каждый человек на мостике молчал, пока штурман не сказал «прошли». Запереть эту дверь — да тут хватило бы одного утопленного парохода. Я стоял свою вахту и впервые видел то, что до сих пор знал только по книгам: эскадра снималась с якорей полным составом, по диспозиции, и строилась в кильватер на внешнем рейде. Над «Петропавловском» лезли вверх флажные сигналы, и по кораблям их повторяли флажок в флажок; «Цесаревич», уже оливковый, по-боевому тёмный, занимал место в линии с тяжёлой грацией перво-разрядного борца; миноносцы резали воду между колоннами. Зрелище было сильное. На него хотелось смотреть просто так, без арифметики, и минуты две я себе это позволял. В той жизни я не видел ничего похожего и увидеть не мог: эскадренные броненосцы кончились раньше, чем я родился, и строй кильватера из семи единиц главных сил существовал

для меня в виде схем со стрелками. Схемы не передавали главного: как это дышит. Как от семи дымов темнеет полнеба, как передаётся по линии сигнал — флажок за флажком, корабль за кораблём, искрой по шнуру, — и вся эта стальная вереница в пять тысяч человеческих душ поворачивает разом, единым существом. Красота миру, который её породил, обошлась дорого и прожила недолго. Но красотой она от этого быть не переставала. Потом арифметика вернулась. Эволюции: повороты «все вдруг» выходили рваными, интервалы плыли, «Севастополь» традиционно лез из строя — его машины славились на всю эскадру дурным нравом. Стрельбы: по щитам, с малых дистанций, при свете дня, в полигонных условиях — и всё равно со средним процентом попаданий, от которого хотелось снять фуражку и помолчать. Годы экономии не лечатся неделей кампании. Это знал я, это знал каждый строевой офицер на этой эскадре — и это, судя по всему, знал Того, который выбирал время. На «Полтаве» неделя кампании прошла под знаком тихой мести Лутонина всем, кто два года поминал его кораблю резерв: наша башня выходила на цель первой, наши кочегары держали пар без чёрного дыма, и на разборе у флагмана командир в кои веки услышал о «Полтаве» не «опять», а «обратить внимание прочим». Успенский за ужином был почти весел. Роцин ходил гоголем: его плутонг отстрелялся лучшим на корабле, и теперь он считал — вслух и с подробностями, — сколько процентов из этого его, а сколько «так уж и быть, твоё, заню-

за». Я не спорил. Делёж шкуры умножает число охотников — а охотники мне были нужны все. На третий день эволюций меня вызвали на «Петропавловск». Не одного — собирали вахтенных начальников и старших офицеров по флажному делу, обычная рутина больших манёвров. Флагман изнутри оказался ровно тем, чем положено быть флагману: коридоры шире полтавских, медь начищенной, вестовые бесшумней, и всюду — особенный штабной воздух, в котором младшему офицеру дышится через раз. Я шёл по этим коридорам и держал в голове непрошеное: всему этому — медным поручням, портретам в салоне, семи сотням людей вокруг — оставалось по старому счёту два месяца с небольшим, до тридцать первого марта. По новому счёту — посмотрим. За «посмотрим» я и работал. В коридоре меня отловил флаг-офицер, мичман с лицом отличника, и сообщил вполголоса, что моё «описание порядка тревог» доложено начальнику штаба, что начальник штаба «изволили отозваться положительно» и что на эскадру будет циркуляр. Циркуляр! Я шёл по коридору флагмана и видел в иллюминатор серую зимнюю воду, и мне хотелось сказать кому-нибудь спасибо — может быть, даже Ставрову с его «вычеркните слово ночных»: слово я вычеркнул, и бумага прошла. В тот раз — в моих книгах — эскадра встретила ночь на двадцать седьмое января с экипажами, не игравшими боевой тревоги месяцами. В этот раз по кораблям пойдёт циркуляр. Я шёл по флагманскому коридору и позволил себе четверть часа счи-

тать это победой. Циркуляр вышел двадцать третьего, и победа кончилась. От моего описания осталась рама. «Рекомендовать гг. командирам обратить внимание на пользу учебных тревог, производимых по их усмотрению» — рекомендовать, по усмотрению. Ведомость результатов исчезла. Слово «ночных» исчезло — то самое, которое мне дружески советовал вычеркнуть Ставров, и теперь стало видно, что это был не совет, а проба скальпеля: даст ли себя резать. Дал. Бумага ушла наверх с моим именем и вернулась на эскадру выпотрошенной: кто хотел гонять тревоги — мог сослаться на циркуляр, кто не хотел — имел на то теперь письменное право, рекомендация не приказ. Я переписал в книжке слово «циркуляр» из разряда «сделано» в разряд «полусделано» и запомнил урок. В этой машине бумагу мало протолкнуть. Её надо довести за руку до самого конца — или у неё по дороге вынут хребет. * * * Двадцать второго вечером эскадра вернулась с эволюций и встала на внешнем рейде. Не во внутреннем бассейне — на внешнем, открытом рейде, всем составом больших кораблей. Я знал, что так будет, и знал почему: проход. Страх перед закупоркой был не глупый. Беда была в том, что из двух страхов штаб выбрал тот, который наступит первым. Я стоял на юте, смотрел на якорные огни эскадры — линия, ещё линия, крейсера мористее — и держал в голове картинку из книг: эта же диспозиция, эти же огни, через четыре ночи. Через два дня из Сасебо выйдет весь их флот, и десять истребителей повернут к Артуру. Командиры их уже

сейчас, в эту минуту, учат наизусть силуэты вот этих самых кораблей — по справочникам и по донесениям прилежных фотографов. Подходила к концу и моя вахтенная тетрадь наблюдений за рейдом — та, которую я завёл ещё в декабре, после миноносного похода. В неё ложилось всё: какие коммерческие пароходы стояли на рейде и под какими флагами, когда уходили, когда появлялись новые; как менялось число джонок у Тигрового; какие огни и в каком порядке зажигались на эскадре с темнотой. Большая часть этих записей не стоила ничего. Но я по опыту обеих жизней знал: накануне у любой катастрофы меняется фон, и заметить перемену фона может только тот, кто записывал фон обычный. Рядом встал Роцин — молча, со своей трубкой, которую он завёл к войне «для солидности» и которую вечно забывал раскурить. — Красиво стоим, — сказал он наконец. — Как на смотре. — Как на смотре, — согласился я. — Ты чего такой? Опять считаешь? — Считаю. — И сколько выходит? Выходило: неделя была не сроком, а форой. Последней форой, которую мне отпустила история, и потратить её следовало без остатка. Главное из несделанного звалось коротко: сети. Завтра — рапорт Лутонину. Пусть откажут — выше «Полтавы» это не решается, — но пусть откажут письменно: после двадцать седьмого каждая такая бумага станет гирей на чьей-то чаше, и я знал заранее, на чьей. Остальное шло по списку, который я и так помнил наизусть, — Карцев, Огарёв, Векшин, огни эскадры по ночам, — и список этот был короток ровно настолько,

насколько коротки полномочия вахтенного начальника. Мелочи. Всё, что мне было дозволено в этом мире, называлось мелочами. Но я двадцать лет прослужил там, где красивым словом «боеготовность» называлась именно сумма мелочей — и ничего, кроме суммы мелочей. — Выходит, Глеб, что пари ты проиграешь на этой неделе, — сказал я. — Готовь ящик. Роцин фыркнул, хотел ответить в обычном духе — и не ответил. Посмотрел на меня, на якорные огни, опять на меня. Сунул нераскуренную трубку в карман. — Знаешь, что страшно, Андрюша? — сказал он тихо. — Страшно, что я уже почти верю. Он ушёл вниз, а я остался на юте — досматривать. Над рейдом стояла большая зимняя тишина, в которой потрескивал на морозе такелаж и едва слышно, на пределе уха, гудели дежурные котлы. Эскадра спала на открытой воде, доверчиво, как спят очень большие и очень сильные существа, ни разу никем не битые. Свою войну я решил начать раньше их войны. За неделю.

Праздники в Артуре отгуляли широко, с гусем, с колядками на нижней палубе, с визитами по начальству, — и до Крещения город прожил в том особом состоянии духа, когда тревожные телеграммы читаются как сводки о чужой погоде. Гусь не обманул, и Михеев ходил именинником, будто добыл его лично. Я отстоял свои вахты, съездил с поздравлениями куда положено, выпил положенное и считал дни. Дни шли крупно, как лёд по реке. В новогоднюю ночь кают-компания пила шампанское, и Роцин, разливая, предпринял манёвр,

который я оценил по достоинству.— А что, Андрюша, — начал он издалека, — пари наше... оно ведь как бы шуточное было, по-приятельски?— Угу, — сказал я. — По-приятельски. Ящик и неделя.— Нет, я к тому, что условия-то дикие. Ну какая война до конца января? Месяц остался. Даже японцы так быстро не поворачиваются.— Глеб. Ты отыграть хочешь или поторговаться?— Я хочу, — Рощин понизил голос и перестал улыбаться, — чтобы ты оказался трепачом. Первый раз в жизни хочу, чтобы человек, с которым я пью, оказался трепачом. Понимаешь ты это?— Понимаю, — сказал я. И мы выпили молча, не чокаясь. Для новогодней ночи это было, пожалуй, чересчур, но никто за столом не заметил. Сразу после Крещения пришли две бумаги, и обе — хорошие. Первую привёз с берега писарь: переписка «по известному делу» закрыта. Жалоба японскоподданного Сакаи оставлена без последствий, лейтенанту Маринину — поставить на вид недостаточную осмотрительность при сношениях с иностранными подданными. «На вид» — это была точка. Дело умерло. Почему оно умерло, я узнал в тот же вечер из второй бумаги, узкого конверта без штампа, который Михеев подал с особенным выражением лица. Внутри была записка в три строки, карандашом, знакомым уже почерком с прокуренным наклоном: «Пластинки оказались занимательными. Долг за мной. В феврале — заходите непременно. В.» Я сжёг записку в пепельнице и подумал, что Векшин — человек с юмором: «в феврале» он вернул мне моё же. Даль-

номерный пост на стекле, надо полагать, перевесил все консульские печали. Когда жандармерия предъявляет штабу такую картинку, желающих защищать господина Сакаи становится меньше. Сам Сакаи, по слухам с берега, отбыл в Чифу с первым пароходом — снимать закаты в местах поспокойнее. Из всей этой истории я вынес урок, который стоил дороже «постановки на вид»: в здешней машине можно выигрывать, если твоя бумага приходит в нужную папку раньше чужой. Проиграл я только там, где бумаги шли мимо меня. Стало быть, и воевать со Ставровым следовало скоростью документооборота. Смешное поле боя для человека, готовившегося к торпедным атакам, но поле было такое, какое дали. А ещё через день Лутонин вызвал меня и молча показал отношение из морского штаба заместника: «...предписывается представить описание принятого на эскадренном броненосце Полтава порядка ночных учебных тревог с приложением ведомости результатов». Подпись стояла «за начальника штаба», и чин с фамилией я прочёл дважды: капитан 2 ранга Ставров. — Поздравляю, — сказал Лутонин сухо. — Ваши забавы затребованы наверх. Писать описание будете вы, подавать буду я, а лавры, как заведено, достанутся эскадре. Возражения? — Никак нет. Прошу только об одном: в описании не называть сроков готовности желательными. Назвать достигнутыми. С ведомостью не поспоришь. — Это вы к чему? — К тому, Сергей Иванович, что желательное у нас принято обсуждать, а достигнутое — догонять. Лутонин хмыкнул и

забрал бумагу. Так моя ночная самодеятельность, два месяца ходившая в чудачествах, стала официальным «порядком, принятым на эскадренном броненосце Полтава». На эскадре есть только один способ сделать дело законным — сделать его сначала. * * * Ставров приехал на «Полтаву» пятнадцатого, с утренним катером, без предупреждения. Я увидел его с вахты: по трапу поднимался капитан второго ранга — немолодой, лет сорока пяти, плотный без рыхлости, в шинели тонкого сукна, и поднимался он так, как ходят люди, для которых любой трап — продолжение паркета. Перчатки он снял только на палубе, обе сразу, и держал потом в левой руке, как держат стек. — Капитан второго ранга Ставров, — представился он вахтенному, то есть мне, глядя при этом мимо меня, вдоль палубы, как оценщик. — Из штаба заместника. К командиру. Фамилия легла в воздух между нами, и я заметил — он проверил. Коротким взглядом, в четверть секунды: знает ли лейтенант фамилию. Лейтенант фамилию знал, но на лице у лейтенанта в эту четверть секунды не было ничего, кроме служебного рвения. Двадцать лет совещаний всех уровней — хорошая школа лицевых мышц. У командира он просидел час. Потом, как мне передали, смотрел учение — Лутонин, не будь дурак, сыграл ему тревогу левому борту, и борт встал к орудиям за две тридцать пять. Потом гость пожелал видеть «офицера, коим заведён означенный порядок». Пока он сидел у командира, корабль шуршал слухами, как камыш под ветром. Вестовые передавали из сало-

на, что гость «всё пишет-с»; Рощин забежал на вахту сообщить, что «по твою душу, Андрюша, не иначе»; даже Любов нашёл повод пройти мимо меня дважды и во второй раз уронил в пространство: «Бумажный человек приехал. К чему бы это-с». Я нёс вахту и не суетился. Чему быть, того по трапу не обойдёшь. Разговор вышел в батарейной палубе, у шестидюймовки, при холодном свете из открытого полупорта. Ставров осмотрел оружие, осмотрел меня — тем же оценочным взглядом, не делая между нами большой разницы, — и заговорил негромко, любезно, без чинов:— Похвально, Андрей Николаевич. Весьма. Две с половиной минуты — это, знаете ли, цифра. В штабе обратили внимание.— Рад стараться.— Не сомневаюсь. — Он провёл пальцем по казённику, посмотрел на палец. Палец остался чистым, и это его, кажется, слегка огорчило. — Однако я ведь к вам не только за этим. Я, видите ли, читал вашу записку. Ту, осеннюю. Командир ваш давал ей ход частным порядком, бумага дошла и до нас. Любопытная бумага. Смелая. — Он поднял на меня глаза, и глаза были незанятые, пустые, как чистые бланки. — Скажите, а вот эти ваши учения, тревоги, сети, о которых вы изволите хлопотать через вторые руки... Это у вас от убеждения или от усердия? Вопрос был с двойным дном и со взведённым курком.— От арифметики, Аркадий Петрович. — Имя-отчество я взял из его же бумаг, и он отметил это коротким движением века. — Убеждения у меня казённые, усердие по чину. А арифметика общая для всех.— Арифме-

тика. — Он улыбнулся одними губами. — Прекрасно. Тогда позвольте и я вам — арифметику. Наместник его императорского величества полагает, что войны не будет. Государь полагает, что войны не будет. Из этого следует, с арифметической, как вы любите, точностью: офицер, который ведёт себя так, будто война будет, полагает себя умнее наместника и государя. Он сделал паузу и посмотрел в полупорт, на серую воду, давая мне время оценить выкладку. — Пока он лейтенант и чудит на своём корабле — это смешно. Когда его чудачества начинают затребовать штабы — это уже не смешно, Андрей Николаевич. Это уже тенденция. — Он аккуратно надел одну перчатку, расправил каждый палец. — Я скажу вам то, чего вам не скажет ваш добрейший Сергей Иванович. Худшее, что может сделать офицер в вашем положении, — оказаться правым раньше начальства. Неправым — можно. Правым позже — должно. Правым раньше — никогда. — Разрешите вопрос, Аркадий Петрович. — Я дождался его кивка. — А если война всё-таки случится. Что станет с теми, кто был неправ вовремя? Ставров посмотрел на меня с первым за весь разговор подобием живого интереса. — Ничего, — сказал он. — Их повысят. Неправых вовремя всегда повышают: они доказали главное — умение слышать. А вот правых раньше времени... — он чуть качнул перчатками, — правых раньше времени к тому моменту, как их правота откроется, обыкновенно уже нет в списках. Внизу, под полупортом, плеснула о борт волна от прошедшего катера —

единственный звук за весь этот разговор, который Ставров не выбирал сам. Он переждал его, как пережидают чужую реплику. Это было сказано всё тем же светским тоном, между делом, и это была первая настоящая фраза за весь визит. Не предупреждение даже. Прейскурант. Он коротко поклонился и пошёл к трапу, натягивая на ходу вторую перчатку. У трапа обернулся:— Описание ваших тревог я читал в черновике. Толково. Я бы на вашем месте вычеркнул слово «ночных» — оно нервирует. Просто «учебных». Честь имею. Ка-тер отвалил. Я стоял у борта и складывал — и впервые за месяц у меня начала складываться рабочая версия. Подпись «за начальника штаба» под отношением о тревогах. Донесение, написанное раньше жалобы. Теперь — личный визит с напутствием. Если положить это в один ряд, выходило: Ставров вёл меня по двум папкам сразу. В одной — «дал ход полезному начинанию способного офицера»: если война случится, автор этой папки окажется прозорливцем. В другой — «донесение о самовольных действиях» и всё, что туда ещё ляжет: если войны не будет, автор предъявит, что вовремя одёргивал паникёра. Двойная бухгалтерия, безупречная, как его перчатки. Какая папка пойдёт в дело — решит не он. Он только держит обе наготове. Версия объясняла всё, кроме одного. Зачем он приезжал смотреть мне в глаза. Страховки оформляют заочно. Этот пункт я в книжке так и оставил — подчёркнутым. * * * Восемнадцатого января эскадра начала просыпаться, и просыпание это было слышно ушами и вид-

но глазами отовсюду, от Золотой горы до Тигрового. С утра задымили все. Над гаванью встали столбы, жирные, чёрные, вертикальные в морозном безветрии, и между кораблями и угольными пристанями засновали баржи. В машинных отделениях по всей эскадре проворачивали механизмы; с кормы на корму перекрикивались мегафоны; катера развозили по кораблям отпускных, фельдшеров, бумаги и слухи. Город на берегу заметил перемену по-своему: в лавках, говорил Михеев, с утра подорожали консервы и свечи — торговый люд понимает дым над гаванью без всяких циркуляров. «Полтава» приняла уголь до полного запаса; Лобов гонял погрузку с остервенением хозяина, дорвавшегося наконец до настоящего дела, и грузчики-китайцы сыпались у него по сходням горохом. — Шевелись, шевелись, православные и которые нет! — гудел он на весь борт. — Засиделись на печи — теперь догоняй! Девятнадцатого подняли сигнал: эскадре начать кампанию. И следом — выход. Выход через артурское горло — это отдельное представление, и я смотрел его из первого ряда. Полная вода держится около двух часов; в одну воду линию не протолкнуть — выходили в две, по одному, с промерами, с руганью на всех мостиках сразу. «Полтава» шла в свой черёд. В самом горле, между Тигровым хвостом и Золотой горой, я с вахты видел оба берега разом так близко, что можно было читать трещины в скале. Корабль в одиннадцать с лишним тысяч тонн полз по этой щели со скоростью пешехода, и каждый человек на мостике молчал, пока штурман не

сказал «прошли». Запереть эту дверь — да тут хватило бы одного утопленного парохода. Я стоял свою вахту и впервые видел то, что до сих пор знал только по книгам: эскадра снималась с якорей полным составом, по диспозиции, и строилась в кильватер на внешнем рейде. Над «Петропавловском» лезли вверх флажные сигналы, и по кораблям их повторяли флажок в флажок; «Цесаревич», уже оливковый, по-боевому тёмный, занимал место в линии с тяжёлой грацией перво-разрядного борца; миноносцы резали воду между колоннами. Зрелище было сильное. На него хотелось смотреть просто так, без арифметики, и минуты две я себе это позволял. В той жизни я не видел ничего похожего и увидеть не мог: эскадренные броненосцы кончились раньше, чем я родился, и строй кильватера из семи единиц главных сил существовал для меня в виде схем со стрелками. Схемы не передавали главного: как это дышит. Как от семи дымов темнеет полнеба, как передаётся по линии сигнал — флажок за флажком, корабль за кораблём, искрой по шнуру, — и вся эта стальная вереница в пять тысяч человеческих душ поворачивает разом, единым существом. Красота миру, который её породил, обошлась дорого и прожила недолго. Но красотой она от этого быть не переставала. Потом арифметика вернулась. Эволюции: повороты «все вдруг» выходили рваными, интервалы плыли, «Севастополь» традиционно лез из строя — его машины славились на всю эскадру дурным нравом. Стрельбы: по щитам, с малых дистанций, при свете дня, в полигон-

ных условиях — и всё равно со средним процентом попаданий, от которого хотелось снять фуражку и помолчать. Годы экономии не лечатся неделей кампании. Это знал я, это знал каждый строевой офицер на этой эскадре — и это, судя по всему, знал Того, который выбирал время. На «Полтаве» неделя кампании прошла под знаком тихой мести Лутонина всем, кто два года поминал его кораблю резерв: наша башня выходила на цель первой, наши кочегары держали пар без чёрного дыма, и на разборе у флагмана командир в кои веки услышал о «Полтаве» не «опять», а «обратить внимание прочим». Успенский за ужином был почти весел. Роцин ходил гоголем: его плутонг отстрелялся лучшим на корабле, и теперь он считал — вслух и с подробностями, — сколько процентов из этого его, а сколько «так уж и быть, твоё, заноза». Я не спорил. Делёж шкуры умножает число охотников — а охотники мне были нужны все. На третий день эволюций меня вызвали на «Петропавловск». Не одного — собирали вахтенных начальников и старших офицеров по флажному делу, обычная рутина больших манёвров. Флагман изнутри оказался ровно тем, чем положено быть флагману: коридоры шире полтавских, медь начищенной, вестовые бесшумней, и всюду — особенный штабной воздух, в котором младшему офицеру дышится через раз. Я шёл по этим коридорам и держал в голове непрошеное: всему этому — медным поручням, портретам в салоне, семи сотням людей вокруг — оставалось по старому счёту два месяца с небольшим, до

тридцать первого марта. По новому счёту — посмотрим. За «посмотрим» я и работал. В коридоре меня отловил флаг-офицер, мичман с лицом отличника, и сообщил вполголоса, что моё «описание порядка тревог» доложено начальнику штаба, что начальник штаба «изволили отозваться положительно» и что на эскадру будет циркуляр. Циркуляр! Я шёл по коридору флагмана и видел в иллюминатор серую зимнюю воду, и мне хотелось сказать кому-нибудь спасибо — может быть, даже Ставрову с его «вычеркните слово ночных»: слово я вычеркнул, и бумага прошла. В тот раз — в моих книгах — эскадра встретила ночь на двадцать седьмое января с экипажами, не игравшими боевой тревоги месяцами. В этот раз по кораблям пойдёт циркуляр. Я шёл по флагманскому коридору и позволил себе четверть часа считать это победой. Циркуляр вышел двадцать третьего, и победа кончилась. От моего описания осталась рама. «Рекомендовать гг. командирам обратить внимание на пользу учебных тревог, производимых по их усмотрению» — рекомендовать, по усмотрению. Ведомость результатов исчезла. Слово «ночных» исчезло — то самое, которое мне дружески советовал вычеркнуть Ставров, и теперь стало видно, что это был не совет, а проба скальпеля: даст ли себя резать. Дал. Бумага ушла наверх с моим именем и вернулась на эскадру выпотрошенной: кто хотел гонять тревоги — мог сослаться на циркуляр, кто не хотел — имел на то теперь письменное право, рекомендация не приказ. Я переписал в книжке слово

«циркуляр» из разряда «сделано» в разряд «полусделано» и запомнил урок. В этой машине бумагу мало протолкнуть. Её надо довести за руку до самого конца — или у неё по дороге вынут хребет.* * * Двадцать второго вечером эскадра вернулась с эволюций и встала на внешнем рейде. Не во внутреннем бассейне — на внешнем, открытом рейде, всем составом больших кораблей. Я знал, что так будет, и знал почему: проход. Страх перед закупоркой был не глупый. Беда была в том, что из двух страхов штаб выбрал тот, который наступит первым. Я стоял на юте, смотрел на якорные огни эскадры — линия, ещё линия, крейсера мористее — и держал в голове картинку из книг: эта же диспозиция, эти же огни, через четыре ночи. Через два дня из Сасебо выйдет весь их флот, и десять истребителей повернут к Артуру. Командиры их уже сейчас, в эту минуту, учат наизусть силуэты вот этих самых кораблей — по справочникам и по донесениям прилежных фотографов. Подходила к концу и моя вахтенная тетрадь наблюдений за рейдом — та, которую я завёл ещё в декабре, после миноносного похода. В неё ложилось всё: какие коммерческие пароходы стояли на рейде и под какими флагами, когда уходили, когда появлялись новые; как менялось число джонок у Тигрового; какие огни и в каком порядке зажигались на эскадре с темнотой. Большая часть этих записей не стоила ничего. Но я по опыту обеих жизней знал: накануне у любой катастрофы меняется фон, и заметить перемену фона может только тот, кто записывал фон обычный. Рядом встал

Рощин — молча, со своей трубкой, которую он завёл к войне «для солидности» и которую вечно забывал раскурить. — Красиво стоим, — сказал он наконец. — Как на смотре. — Как на смотре, — согласился я. — Ты чего такой? Опять считаешь? — Считаю. — И сколько выходит? Вышло: неделя была не сроком, а форой. Последней форой, которую мне отпустила история, и потратить её следовало без остатка. Главное из несделанного звалось коротко: сети. Завтра — рапорт Лутонину. Пусть откажут — выше «Полтавы» это не решается, — но пусть откажут письменно: после двадцать седьмого каждая такая бумага станет гирей на чьей-то чаше, и я знал заранее, на чьей. Остальное шло по списку, который я и так помнил наизусть, — Карцев, Огарёв, Векшин, огни эскадры по ночам, — и список этот был короток ровно настолько, насколько коротки полномочия вахтенного начальника. Мелочи. Всё, что мне было дозволено в этом мире, называлось мелочами. Но я двадцать лет прослужил там, где красивым словом «боеготовность» называлась именно сумма мелочей — и ничего, кроме суммы мелочей. — Выходит, Глеб, что пари ты проиграешь на этой неделе, — сказал я. — Готовь ящик. Рощин фыркнул, хотел ответить в обычном духе — и не ответил. Посмотрел на меня, на якорные огни, опять на меня. Сунул нераскуренную трубку в карман. — Знаешь, что страшно, Андрюша? — сказал он тихо. — Страшно, что я уже почти верю. Он ушёл вниз, а я остался на юте — досматривать. Над рейдом стояла большая зимняя тишина, в кото-

рой потрескивал на морозе такелаж и едва слышно, на пределе уха, гудели дежурные котлы. Эскадра спала на открытой воде, доверчиво, как спят очень большие и очень сильные существа, ни разу никем не битые. Свою войну я решил начать раньше их войны. За неделю.

Глава 7

Рапорт о сетях я подал двадцать третьего, с утра, и написан он был по всем правилам жанра, который я успел освоить в этом веке лучше торпедной стрельбы: ни слова о войне, ни слова о японцах. «Ввиду стоянки эскадры на открытом рейде и в целях практики команды в обращении с сетевым заграждением ходатайствую о разрешении произвести учение по постановке противоторпедных сетей...» Учение. Практика команды. Невинно, как урок гимнастики. Поставить сети учением — а там, глядишь, учение можно и затянуть. Снимать сети — работа долгая, к ней без приказа не торопят. Лутонин прочёл рапорт стоя, по своему обыкновению, и по второму разу медленно, уже понимая, что держит в руках. — Хитро, — сказал он без одобрения и без осуждения, просто констатируя. — Через учение, значит. А вы знаете, Андрей Николаевич, что сети у нас не ставились ни разу с прихода на Восток? Что шесты, поди, прикипели к бортам, а половина такелажа сгнила? — Знаю, Сергей Иванович. Потому и пишу «учение»: самое время выяснить, что сгнило, пока выясняется это бесплатно. Лутонин посмотрел в полупорт, на серый рейд, где в кильватер нам стоял «Севастополь», и где-то за ним, мористее, дымили дежурные крейсера. — Дам ход, — решил он. — Но предупреждаю: выше командира эта бумага не уйдёт. Эскадренные дела решает

штаб, а у штаба на сей предмет мнение имеется, и вы его слышали. — Он помолчал. — Лично от себя добавлю: учение по сетям я бы и сам сыграл. Стыдно сказать, я не помню, как они ставятся. Успенский наложил резолюцию в тот же день. Резолюция была произведением искусства в своём роде: «Полагал бы полезным. Доложено по команде. Указаний не последовало». Три фразы — три слоя брони: командир согласен, командир спросил, командиру не ответили. Если что — виноватых выше «Полтавы» ищите, господа, у нас всё подшито. Я перечитал эту резолюцию дважды и испытал к Ивану Петровичу чувство, близкое к нежности. Он не верил в мою войну. Он просто был старый служака, который нутром чуял, что бумага с таким рапортом через месяц может стоить дороже броневоего пояса, и аккуратно занял позицию по обе стороны от неё. У каждого своя школа выживания. Его школе было лет тридцать. Но было в резолюции и четвёртое, главное: «Полагал бы полезным». С этими тремя словами Лутонин на следующее утро сыграл на «Полтаве» сетевое учение — корабельное, своей властью, никого не спрашивая, потому что учить команду обращению с собственным имуществом командир вправе и в мирное время. Учение вышло поучительным сверх всякого ожидания. Шесты сетевого заграждения, годами не отваливавшиеся от борта, прикипели — их отдирали ломом, с матом, который Лобов даже не считал нужным глушить. Такелаж перегнил местами до трухи: первая же сеть, пошедшая на шестах за борт,

оборвала два конца и повисла пьяной бородой. Из полного комплекта годными оказались две трети. Под конец, для полноты картины, сорвавшимся блоком зашибло руку марсовому, не до перелома, но до лазарета, и доктор, перевязывая, ворчал в голос: «До войны догулялись, господа экспериментаторы». Боцманская команда провозилась до темноты, и к вечеру «Полтава» стояла с выставленной сетью по левому борту — в те дни он стоял к морю — кривовато, по-учебному, но стояла.— Снимать? — спросил я Лутонина, когда он принимал доклад.— Зачем же. — Лутонин разглядывал сетевую бороду вдоль борта с видом человека, любующегося рассадой. — Учение не окончено. Завтра будем учиться... — он подумал, — содержать сетевое ограждение в выставленном состоянии. Послезавтра — тоже. Богатая тема, на неделю хватит. Мы поняли друг друга, не сказав ни слова из тех, которые нельзя было говорить. На соседних кораблях на нашу бороду смотрели в бинокли и, надо думать, острили. На здоровье. Из одиннадцати больших кораблей на открытом рейде один теперь стоял с сетью с мористого борта, кривой, учебной, неполной. В моих книгах таких не было ни одного. А на остальных десяти сети остались на полках. Я записал в книжку дату и слово «подшито» — и поставил рядом значок, которым отмечал дела, сделанные наполовину. Значков таких в книжке становилось всё больше. Целиком в этой машине не делалось, кажется, ничего. * * * Двадцать четвёртого я съездил на берег — последний раз перед войной, хотя

из всех участников поездки знал об этом я один. Векшин сидел в Новом городе, в казённом доме с печами, которые топили по-сибирски, до малинового гуда. Векшин принял меня в кабинете, где из всей обстановки были стол, два стула, несгораемый шкаф и карта Квантуна во всю стену — без единой пометки, что выдавало в хозяине человека, держащего пометки в голове. — А, лейтенант. — Он не удивился. — Заходите. Чаю, как было обещано, не подам, а новости подам. Садитесь. Новости у него были такие. За две недели января из Артура и Дальнего выехало японских подданных больше, чем за весь прошлый год. Парикмахерские закрывались «по семейным обстоятельствам», лавки распродавались с уценкой, какой не бывает у людей, собирающихся вернуться. Прачечная у Восточного бассейна — та самая, что считала эскадренное бельё, — рассчитала прислугу. Телеграф работал, как насос: депеши в Чифу, в Шанхай, в Нагасаки, всё «коммерческие», всё невинные. Векшин излагал это ровно, по пунктам, как читают опись. — Сводку я подал, — закончил он. — Вторую за месяц. Хотите знать, где она? — Знаю, где она. Под сукном. — Не угадали. — Векшин дёрнул прокуренным усом. — Хуже. На неё ответили. Предписано не возбуждать населения мерами, которые могут быть истолкованы в тревожном смысле. Каково? Я двадцать лет служу, я думал, меня бумагой уже не удивишь. — Он встал, прошёлся вдоль карты. — Они уезжают, лейтенант. Все. Так не бегут от слухов. Так уходят по приказу. У меня на это чу-

тѣ, как у вас на обочины. И я с этим чутьём сижу в кабинете и не имею права даже усилить наряды на пристанях, потому что это «возбудит население». Он открыл несгораемый шкаф, вынул картонную папку и положил передо мной отпечаток с той самой пластинки — окончательно, видимо, зачислив меня в свои. Снимок был хорош: левый фас батареи Электрического утёса, орудийные дворики, и над бруствером — дальномерный пост, чёткий, как на чертеже. В углу, любительски-небрежно, кусочек «заката». — Полюбуйтесь, какая школа. Состав кадра, выдержка. Это вам не лавочник с фотографическим увлечением — это офицер с цензом. Я таких по съёмке отличаю сразу. — Он убрал отпечаток. — И таких тут было сорок. Было, лейтенант. К сегодняшнему дню осталось, по моему счёту, человек шесть — самые ценные, надо полагать, кому велено сидеть до конца. Я бы их взял прямо нынче, всех шестерых. Но — «не возбуждать». — Пароходы считайте, Павел Карлович, — сказал я. — Раз людей трогать нельзя. Какие коммерческие суда стоят, какие и куда снимаются. Когда из гавани в мирный день уходят все нейтральные борта разом — это самый громкий сигнал, какой бывает. И никакого «возбуждения»: портовая статистика, рутина. Векшин остановился, посмотрел на меня, достал карандаш и записал. Прямо при мне, не стесняясь, и этим жестом сказал больше, чем любой благодарностью. Он остановился у окна. За окном был белый двор и часовой в башлыке. — Вы ведь мне в декабре что-то такое говорили.

Про телеграммы. Про февраль. — Он повернулся. — Я тогда записал. Я, знаете, всё записываю. Так вот, не считите за допрос... но если человеку с вашей арифметикой и моему чутью один чёрт никто не верит — может, хоть мы с вами друг другу поверим? Что у вас в феврале, Андрей Николаевич? Это был момент из тех, которые я заранее проигрывал в голове десятки раз, и всё равно он пришёл не так и не тогда. Сказать правду было нельзя. Соврать этому человеку было нельзя тоже. Он был из тех, кто враньё слышит ухом, как фальшивую ноту. Оставался узкий фарватер между правдой и враньём, по которому я ходил уже третий месяц и знал на нём каждую вежу: говорить только то, что подтверждается открытой арифметикой, и столько, сколько собеседник способен унести. — Не в феврале, Павел Карлович, — сказал я. — Раньше. Я считаю, что они начнут до конца января. Ночью, с моря, без объявления. И если в одну прекрасную ночь вы услышите со стороны рейда взрывы — не считите за учение. Векшин смотрел на меня секунд пять. Потом, не отводя глаз, взял со стола карандаш. — До конца января, — повторил он, записывая. — Ночью. С моря. — Поднял голову. — Вы понимаете, что я сейчас сделал, лейтенант? Я записал ваше показание. С датой. Если вы ошиблись — бумажка умрёт в этой тетради, и бог с ней. А если вы правы... — он постучал карандашом по тетради, — если вы правы день в день, то после той ночи я приду к вам с одним вопросом. И я ещё сам не знаю, каким он будет — дружеским или слу-

жебным. Точность, Андрей Николаевич, бывает аналитическая, а бывает свидетельская. Ваша — на самой границе. Вот и цена сегодняшней откровенности, и я заплатил её с открытыми глазами: датированное пророчество легло в жандармскую тетрадь. После той ночи этот человек придёт ко мне с вопросом «откуда», и готовиться к разговору с ним мне предстояло так же всерьёз, как к самой ночи.— Приходите, — сказал я. — После той ночи, Павел Карлович, у нас с вами будут вопросы поважнее моих источников.— Это-то меня и утешает, — сказал Векшин. И, уже провожая меня к двери: — Знаете, что в вас странно? Не то, что вы это говорите. А то, что вы говорите без удовольствия. Пророки любят пророчить, я насмотрелся. А у вас лицо человека, который читает приговор. Собственному, заметьте, городу. Я не нашёлся, что ответить, и он не настаивал. У этого человека вопросы работали и без ответов.* * *Ночные вахты на открытом рейде шли теперь у меня под двойную бухгалтерию: служба — и тетрадь фона. Фон менялся. Это было видно простым глазом — если глаз знал, куда смотреть. Джонки, которые неделями держались у Тигрового хвоста, исчезли — все разом, как сдутые ветром. Коммерческий англичанин, грузившийся у Дальнего, снялся, не догрузившись, — я отметил его дымы на зюйд-весте во вторую вахту. Огни города горели по-прежнему, но телеграфная контора, по сведениям Михеевского брата-сторожа, работала теперь и ночью. Мир вокруг Артура тихо, по-деловому освобождал сцену. Остава-

лись только мы — одиннадцать больших кораблей с зажжёнными якорными огнями, выстроенные на открытой воде, как посуда на полке перед землетрясением. В одну из этих ночей, в четвёртом часу, на юте обнаружился Лобов — в тупе поверх всего, с лицом человека, вышедшего «глянуть погоду». Погоду он глядел минут десять, стоя в трёх шагах от меня и сопя, потом не выдержал:— Вашбродь. Дозвольте спросить не по службе.— Спрашивай.— Сети мы выставили — это я понимаю, добро. Тревоги играем — понимаю. А вот скажите старику... — он пожевал губами, подбирая слова, — отчего у меня кошки скребут, вашбродь? Сорок лет живу — не скребли. А тут, как на этот рейд вышли, — скребут и скребут, спасу нет. К чему бы это, по-вашему, по-учённому? По науке это было ни к чему. А по-человечески старый боцман десятый год дышал одним воздухом со своим кораблём и чуял перемену этого воздуха раньше всякой науки, как чуют её лошади и чайки.— К погоде, Ерофеич, — сказал я. — К большой погоде. Ты вот что: бери-ка ты своим умом и поглядывай, чтоб пластыри были на месте и аварийный лес не растащили по хозяйству. Погода — она разная бывает.— Это можно-с, — с облегчением сказал Лобов: получив дело, он переставал бояться. — Это мы враз. И ушёл — проверять пластыри среди ночи. А я остался на юте с его кошками в придачу к своим. Тетрадь фона заполнялась теперь быстрее, чем служебный журнал. «23-е: германец Бургомистр Хаген перенёс выход с пятницы на завтра — со слов

агента пароходства, через Михеева. 24-е: у пароходной конторы с утра очередь из японских семей; телеграфная контора — ночная смена вторую неделю». Каждая строка по отдельности не значила ничего и в любом штабе была бы поднята на смех. Все вместе они значили одно. Фон пустел. Огарёв на мою записку ответил запиской же, через катер: «Аппараты держим по-вашему. Отряд ворчит. Ворчание беру на себя. О.». Семь слов и одна буква — а мне от этой бумажки стало теплее, чем от всех циркуляров. Где-то там, среди миноносцев, ходили в дозор люди, у которых мины Уайтхеда лежали в трубах с боевыми зарядными отделениями. Может быть, в ту самую ночь именно это окажется разницей. В субботу я написал матери. Письмо вышло короткое и почти честное: служба идёт, эскадра в кампании, началась настоящая работа, и потому писать, возможно, буду реже — пусть не считает молчание дурным знаком. Молчание, маменька, будет означать ровно обратное: что я очень занят. Дальше я задержал перо над бумагой и добавил то, чего не планировал: «А если услышите в газетах тревожное — знайте, что сын ваш на хорошем корабле, при хорошем командире, и место своё знает». Перечитал. Каждое слово было правдой, и все вместе они складывались в щит, который я заранее подставлял под удар, идущий к ней через всю Сибирь со скоростью телеграфа. Больше для неё я сделать не мог ничего. Заклеил, отдал Михееву. Подумал, что в той жизни никогда не писал писем, — и что из всех здешних наук эта оказалась

самой трудной. Артиллерийские таблицы, паровые машины, сословный этикет — всё бралось усердием. Не бралось одно. Писать живому человеку, который любит не тебя, и держать при этом перо так, чтобы любовь не почувствовала подмены. Если есть на свете суд, на котором мне когда-нибудь отвечать за всё это, — спросят там, подозреваю, не про Того и не про Ставрова. Спросят про письма.* * *Разрыв пришёл в город боком, по-воровски — как и положено новости, которую прячут. Двадцать пятого утром «Новый край» вышел постный, как в великую пятницу: переговоры, ноты, уверенность кругов. Но уже к полудню город гудел. Коммерческий телеграф принёс частные депеши. Из Шанхая. Из Чифу. От торговых корреспондентов, от компаньонов, от родни. Все депеши говорили одно: Япония отозвала посланника. Сношения прерваны. Дальше город сделал всё сам, за полдня. В лавках смели свечи, спички, консервы. Извозчики подняли цену вдвое. К вечеру — втрое. У конторы пароходства встала очередь: дамы, дети, узлы. На Чифу. На любые места. Хоть на палубу. Банкирская контора в Новом городе прекратила размен до особого распоряжения — и этим сказала городу больше, чем все ноты вместе. А газета молчала. Штаб молчал. На той стороне молчания эскадра стояла на рейде — с якорными огнями по уставу мирного времени и с сетями в клетках. Вся, кроме одной кривой учебной бороды по левому борту «Полтавы». В кают-компании в этот вечер было тихо, как не было ни разу при мне. Спор, тянувшийся с нояб-

ря, кончился — не потому, что кто-то кого-то переспорил, а потому, что спорить стало не о чем. Разрыв сношений — это не война, говорите вы? Прекрасно. Только отчего-то никто за этим столом уже не ел с аппетитом. Штурман — тот самый Николай Аркадьевич, что в ноябре поминал Ушакова с Нахимовым, — за весь ужин сказал одно: спросил у вестового вторую порцию чаю и не притронулся к ней. Дед-механик, напротив, был оживлён и деловит, как перед смотром: у него, сообщил он столу без всякого вопроса, машины проверены, запасные части переписаны, и «ежели кому интересно — пар я подниму, когда прикажут, а не когда японец позволит». Никто не засмеялся, и деда это полностью устроило. Доктор ел молча, по обыкновению, но после ужина, я видел, спустился в лазарет и до поздних склянок что-то там перекладывал и пересчитывал со старшим фельдшером. Каждый готовился, как умел, на своём заведовании. После ужина я зашёл к Карцеву. Минёр сидел у себя над разобранным прибором Обри, при двух лампах, и не удивился ни мне, ни вопросу. — Аппараты? Перебраны все шесть, не беспокойся. Мины осмотрены, зарядные отделения... — он глянул на меня поверх очков, — учебные, разумеется. Боевые — по приказу. Которого нет. Но скажу тебе как минёр минёру, хоть ты и липовый: от осмотра до снаряжения у меня теперь — два часа работы. Было бы двенадцать. — Когда успел? — А вот когда ты со своим секундомером по плутонгам бегал — тогда и успел. — Карцев вернулся к прибору. — Заразная у

тебя болезнь, Маринин. Весь корабль перезаражал. Иди уже, дай человеку гироскоп дочистить. В мирное, заметь, время. По доброй, заметь, воле. Рошин поймал меня после ужина в коридоре. В руке он держал свою вечную трубку — набитую, не раскуренную, забытую. — Ну что, стратег. — Он сказал это тихо и без яда. — Разрыв — ещё не война. До конца января шесть дней. Пары в силе. — В силе, Глеб. — Я вот что спросить хотел. — Он замялся, что бывало с ним раз в год. — Ты тогда, в ноябре, говорил: ночью, миноносцами, по эскадре на якоре. Мы сейчас — эскадра на якоре. Это что же выходит... — он не договорил. — Выходит, что твой плутонг сегодня ночью спит в одежде, — сказал я. — И завтра. И послезавтра. Без приказа, без тревоги, просто так. Сапоги у коек, замки осмотрены с вечера. Ты артиллерист, ты имеешь право чудить на своём плутонге. Никто и не заметит. Рошин смотрел на меня долго. Потом сказал «угу» — буднично, как о погоде, — и пошёл к себе на плутонг. Не спорить. Не шутить про ящик шампанского. Чудить. Поздно вечером по эскадре повторили приказ об охране рейда. Я читал его на вахте, при фонаре. С заходом солнца сообщение с берегом прекратить. Противоминную артиллерию зарядить. Дозор — два миноносца, в двадцати милях. Дежурные крейсера — под парами. Два корабля — светить прожекторами. Всё по наставлению, до запятой. И ни слова о сетях. Ни слова о затемнении: якорные огни — по мирному уставу. Светить прожекторами — то есть двум кораблям всю ночь по-

казывать себя на десять миль окрест. Я знал, кому выпадет светить. Я помнил эти два названия тридцать лет. Меры бы- ли. Готовности не было. Между этими двумя словами лежала вся разница между «отразили» и «отделались», и ночь, которая её предьявит, стояла уже за порогом. А я поднялся наверх, на ют, и постоял там, как стоял каждый вечер этой недели. Мороз стянул рейд тишиной. Эскадра горела якорными огнями от края до края — честными, яркими, по уставу мирного времени, — и где-то за чёрным горизонтом, в трёх сотнях миль, уже шёл сюда флот, для которого эти огни были не уставом, а прицельной планкой. Старк просил у наместника сетей, паров и разведки — об этом уже шепталась вся эскадра, спасибо севастопольскому пенсне с его связями. Ответ наместника я мог продиктовать за сутки до того, как он прозвучал: «Преждевременно. Мы никогда не были так далеки от войны». Эту фразу я ждал, как ждут боя курантов. Внизу пробили две склянки. Звук покатился по морозу от корабля к кораблю, и эскадра отозвалась вразнобой, как перекликается засыпающая деревня. Я дослушал до последнего удара и пошёл вниз — спать, пока дают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.